

Виктор Бычков

Рассвет над Деснянкой

исторический роман

Виктор Бычков

Рассвет над Деснянкой

«Издательские решения»

Бычков В.

Рассвет над Деснянкой / В. Бычков — «Издательские решения»,

События в романе развиваются на границе России и Белоруссии в непростое для страны время с 1905 по 1941 годы. Судьбы крестьян, священника, дворянина неразрывно связаны с судьбой страны. Классический русский литературный язык, яркие образы главных героев, динамичные, захватывающие сюжеты не оставят равнодушным читателя, вовлекут, сделают его соучастником исторических событий.

© Бычков В.

© Издательские решения

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Глава первая | 6 |
| Глава вторая | 14 |
| Глава третья | 27 |
| Глава четвёртая | 37 |
| Глава пятая | 47 |
| Глава шестая | 54 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 57 |

Рассвет над Деснянкой
исторический роман
Виктор Бычков

© Виктор Бычков, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Глава первая

Речка Деснянка петляет, течёт среди болот, среди лесов, течёт медленно, степенно. И только в этом месте меняется, сжимается берегами, втискивается в узкую горловину. С одной стороны – густой сосновый лес с редкими березками, дубами и осинами на высоком правом берегу, с другой – низкий левый берег с заливными лугами, огромными – почти до горизонта. Вот тут-то она и разгоняется, течение становится быстрым, шумливым. Только почему-то река не стала вгрызаться и дальше в лес, а круто свернула на луга, подточила правый высокий берег, образовав широкую и мелкую заводь, очень удобную искупаться, полежать на песчаном берегу, напоить домашний скот, да и молодежи полоскать белье лучшего места не надо. И сено с лугов вывозить можно прямо на телегах – дно песчаное, крепкое, вода не выше ступицы будет. Для этой цели высокий берег срезали местные жители и сделали пологий удобный спуск к реке, а сохранившийся – заняли береговые ласточки, насверлив в нем несметное количество гнезд-квартирок.

Еще при Петре Первом пришли сюда люди, облюбовали это место, заложили деревеньку и назвали ее поэтическим, ласковым и красивым именем – Вишенки. А чтобы она оправдала такую честь, такое название, насадили сады, и в большинстве своем – вишневые. Хотя передается из поколения в поколение как притча, как легенда и другое – что не из-за красивого деревца имя такое получила.

Якобы первыми появились здесь среди лесов на берегу говорливой речушки беглые крепостные муж с женой и дочуркой маленькой, любимой и желанной. Такой она была красоты, что родители в ней души не чаяли и звали ее за глазки-бусинки на ягодку похожие именем ласковым – Вишенка! Да только вскорости приключилась с ней беда-горюшко: привязалась болезнь тяжкая, недобрая и спасти малютку никак нельзя было. Вот в честь девочки-дочурки своей, и назвали так это место.

Как бы то ни было, а только местные жители гордятся этим названием, своей деревенькой и не отвергают ни одну из гипотез. Согласны и так, и этак.

А сады и вправду красивые! Особенно по весне, когда распустятся вдруг, разом все вишни, откроют миру красоту лепестков своих, заполнят, одарят нежнейшим ароматом окрест, даже запах хвои лесной, терпкий, въедливый перебьют! Проникнет в самые дальние уголки, опустится по-над рекой, пронесется над ней, оживит речные запахи и растворится где-то уже за лугами, далеко-далеко, смешается с запахами разнотравья! А легкий ветерок все колышет и колышет его, дурманит округу! И сады вишневые кипят, кипят своими цветками душистыми, кружат голову по весне и молодым, и старым! Хорошо!

Ефим Егорович Гринь любит весну! Да и как ее не любить, коль она берedit душу, волнует, зовет куда-то. Только куда пойдешь, если пупком здесь намертво, навечно привязан, любо-дорого все вокруг?!

А и в правду, хорошо и мило по весне! После ледохода река постепенно вошла в берега, остались лишь разбросанные блюдечки озер по лугам. Зазеленело все, очистилось от зимней дремы, ожило! Зайдешь в лес, остановишься на поляне, прислушаешься – и слышишь, как звенит он. Да-да! Звенит! Листья еще не распустились, птички не заселили каждое деревце, каждый кустик, только сок из землицы по стволам бежит, оживляет их. Вот он-то, лес, и звенит, с жадностью впитывая живительную влагу, пробуждается, тоже рад солнышку, теплой погоде.

А деревня? Да ее только за одно название стоит любить!

– Ви-шен-ки, – по слогам шепчет мужчина, и сам же вслушивается, наклонив голову, щурится от солнца, что светит прямо в глаза, произносит еще раз, но уже громче: – Ви-шен-ки, – и улыбается.

Так и стоит с застывшей детской улыбкой на лице, полной грудью вдыхая запах весенней земли.

– Чего лыбишься, как дурачок? – сосед и одноклассник Ефима, вечно недовольный сорокалетний Данила Кольцов с топором за поясом и веревкой в руках остановился рядом, достал кисет, принялся крутить самокрутку. – Чего стоишь? Работать надо, а не прохлаждаться.

– Да-а! Это ж каким надо быть хорошим человеком, главное – умным, чтобы испортить настроение людям? – Гринь смерил презрительным взглядом соседа, даже отступил шаг назад, чтобы лучше разглядеть его. – Ты – специалист в двух делах: клепать детей и портить настроение. И какое из них для тебя важнее – неведомо.

– Не тебе судить, – поддел Ефима Кольцов. – Всё лыбиться да других учить ты мастак, а вот делом похвастаться – нету тебя, – провёл языком по бумажке, склеил самокрутку, исподлобья взирая на соседа. – Даже жёнку в пот вогнать не могёшь, потому и дитёнки не получаются.

– Эх, Данила, Данила, – куда-то разом подевались благодушие, тихая радость, которые только что наполняли всего Ефима. Досада, обида заняли их место, согнали улыбку с лица. – Всё стараешься обидеть меня, больно сделать. Не мучайся зря – больнее уже не будет, – глянул с укором на мужчину, махнул рукой, направился вдоль реки, втянув голову в плечи, сгорбившись, как старик.

– Ты, это, погодь маненько, Ефимка, – Кольцов зашаркал вдогонку лаптями, стараясь нагнать соседа. – Да погодь, сатана тебя бери! Не со зла я это, ты знай. Да стой ты, кила тебе в бок! – видя, что Гринь так и не думает остановиться, затрусил следом, матерясь.

– Ну, чего тебе? – повернувшись в пол-оборота, Ефим остановился, смотрел на запыхавшегося соседа, поджидал.

– Что ты, как девка нецелованная, обидки корчишь, – Данила прикурил папиросу, сильно затянулся, выпустил струю дыма в сторону и только после этого посмотрел на Гриня. – Не обижайся, Ефим Егорыч, не со зла, не хотел тебя обидеть.

– А кто ж тебя за язык тянул?

– Никто, конечно. Это я от злости на себя да на свою супружницу. Ты тут ни при чем, – жадно затянувшись, долго держал дым в себе, прежде чем выпустил, и снова продолжил. – Думаешь, мне легко? Как бы не так! С вечера уснуть не могу, поутру боюсь просыпаться – всё думки одни и те же: как ораву эту прокормить, обушь, одеть? А ты говоришь.

– Да не говорю я ничего про твою семью, – вроде как стал оправдываться Ефим. – Что ж, я не понимаю, что ли, что у тебя такая семья? Это ты меня всё подначиваешь.

– Ну, не говоришь, так думаешь, а я тебе даже завидую, – небритое лицо Данилы сморщилось в подобии жалкой улыбки. – Девять ртов да мы с жёнкой. Вот и посчитай, сколько жрачки надо на раз. По ложке, так одиннадцать штук за один мах улётает, да три раза на дню за стол запрыгивают, да махают не по одной ложке, вот и вся арифметика, а ты обижаешься. За один заход за столом уже не местишься, часть на второй круг делить надоть.

– Так не рожал бы.

– Не получается, Егорыч, ты же знаешь, – Кольцов даже махнул рукой от отчаяния. – Почитай, как год – так рот. Как к бабе прикоснёшься, так и жди еще одного едока. Хоть в узелок завязывай.

– А кто ж тебе не дает завязать?

– Легко сказать, а когда баба под боком, о том не думаешь: так и тянет, зараза, на себя. Умом перед энтим понимаешь, что за чем следоват, а потом, как жёнки коснёшься, куда он, ум энтот, девается, хрен его знает?! Уже не головой думаешь, а стыдно сказать чем. Опосля опять за ум хватаешься – ан поздно, дружок: очередной рот на подходе!

– Понимаю тебя, Данила Никитич, но к бабке Лукерье сходила бы Марфа, и то, глядишь, меньше ртов было бы.

– Не хочет. Да и я не хочу. Не по-христиански всё это, бабка Лукерья твоя, – Кольцов смачно сплюнул, вытер рукавом губы. – Ей бы самой руки поотрывать, карге старой, пови-тухе-самозванке. Бог дал дитё, так куда ж от этого деться? Вон вам с Глашкой: и хочется, да неможется. А тут Бог даёт, как его выковыривать? Грешно это, грешно живую душу-то. Пускай, как есть, так и есть, – вновь отчаянно махнул рукой, стал раскуривать потухшую самокрутку, переминаясь с ноги на ногу.

– Да-а, счастливый ты, Данилка! – мечтательно произнес Ефим, глядя на соседа.

– Какое ж это счастье, скажешь тоже? – Данила встретился взглядом с Гринем, заметил, прочитал в его глазах неподдельную грусть, безысходную печаль-тоску. – Может, ты и прав, про счастье-то? – заговорил чуть дрогнувшим с хрипотцой голосом. – Наломись на работе, а домой придешь, они облепят тебя, голоштаные, и так легко на душе станется, так легко, что прямо жить хочется! – сказал, и вроде как стыдно стало за своё счастье перед бездетным соседом. – Ты, Ефим Егорыч, извиняй меня, коль чем обидел. Не со зла я, а и вправду – рад ребятишкам. Они ж, чертяки, знаешь... – и не найдя слов выразить переполнившие душу чувства, в очередной раз махнул рукой. – Ребяшня, одним словом, дай им Бог здоровья. Куда я без них? То-то и оно.

– Вот видишь, Данила Никитич, а мне это неведомо, – с дрожью в голосе произнес Ефим. – А так хочется, чтоб ты только знал!

– Не расстраивайся, может, оно еще наладится, – стал успокаивать друга Кольцов. – Слышал я, что порожние бабы ходят до знахарки, что в Заозёрном лесу будто бы живёт. То ли из наших она, из православных, то ли из цыган – кто её знает, но, сказывают, некоторым помогает.

– Правда, есть такая. Глашка была у ней позапрошлым летом: куда там – не помогла. Даже на Соловки в прошлом годе пешком прошла, а всё едино: как не было детей, так и нет. Возил в больницу и в район, и в область, так доктора сказали, что уже никогда не будет, но мы не верим. Как так – не быть дитю? Всё ж при нас: и титьки, и всё остальное, как и у всех людей. Отсеемся по весне, пойдет в Киев в лавру Печёрскую. Говорят, почти всем помогает. Если и после лавры не получится, тогда я не знаю, – в голосе Ефима сквозили и безысходность, и надежда.

– Ладно, Егорыч, Бог даст, всё у вас наладится, – Данила собрался уходить, похлопал друга по плечу. – Всё в руках Божьих. Пойду я, дело не ждет.

– А куда наладился?

– Можжевельника надоть да черемухи сук срубить. Рыбки взял малёхо, подсолил, закоптить бы да свою ораву побаловать. Пускай трескают, всё ж какая-никакая смена в пище, новизна.

– Ты это, если что, если неведомо, присылай некоторых дитёнков к нам, чай, не объедят нас с Глашкой. Родня всё ж таки.

– Спасибо тебе, Ефимка, но мы уж сами как-нибудь. Раз настрогать эту ораву смогли, сможем и прокормить. Это я так, к слову, – повернувшись с полдороги, произнес Кольцов. – Но и ты носа не вешай. Ты, это, верь, я тебе говорю, верь, и всё будет у вас, как и у всех людей.

Ефим ещё долго стоял, смотрел вслед уходящему в лес Даниле, пробовал вернуть себе то настроение, что было до встречи с Кольцовым, но так и не смог. Куда-то исчезло оно, запропастилось куда-то, вытеснилось тяжкими думками, что заполнили под полную завязку. Тяжкий, безысходный выдох произвольно вырвался из груди, чисто выбритое лицо сморщилось, исказилось от боли, что уже сколько лет назад поселилась в душе и рвёт, терзает её и без того израненную и всё никак не хочет покидать.

– И-э-эх! Жизнь, итить её в коромысло! И так покрути, и так поверни, всё едино. Хоть стоймя поставь, если сможешь, а переделать, переиначить наново – кишка тонка. Не получится, как ни старайся, – ни к кому не обращаясь, произнёс мужчина, повернувшись в сторону леса.

Ноги сами понесли в ту же сторону, за Данилой, только свернул немного левее, к реке, к тому месту, что уже давно облюбовал себе Гринь.

На небольшой полянке над обрывом застыла одинокая сосна. Стоит давно, корни переплелись, связались немислимим узлом, навечно впились в землю, уцепились в неё надёжно, прочно, намертво – ни одной буре не под силу сдвинуть с места. Разве что вершину покачает ветер, да и успокоится. Правда, Деснянка всё ж таки пробует взять своё: с каждым годом подтачивает и подтачивает берег под сосной. Вот уже видны над обрывом несколько корешков её, болтаются по-над рекой, сохнут, не питают соком землицы само деревце.

Это место считал своим Ефим давно, еще в детстве часто прибежал сюда, садился под сосну, смотрел вдаль, сколько глаза видят, пытаюсь разгадать – что там за лугами, за лесом, за горизонтом. То мнил себя парящим вместе с аистами, что кружили над лесом, над лугом, с высоты пытался рассмотреть родные места, деревню Вишенки. А то и залетал за горизонт, видел неведомые города, другие чудеса; то замирал вместе с жаворонком, превратившись в такой же поющий серенький комочек, висел над землей, радовался жизни вместе с птахой.

На краю поляны за кустом шиповника сладко спали два медвежонка. Набегавшись по весеннему лесу, налазившись по деревьям, они устали, пригрелись под ласковыми лучами солнца и уснули. Сон их зорко оберегала мать-медведица, что улеглась чуть в сторонке, вытянувшись во всю длину, положив голову на лапы, тоже нежилась под весенним солнышком. Клонило ко сну, глаза уже стали слипаться, как учуяла вдруг запах человека, а потом и услышала его шаги.

Зверь замер, насторожился, только еще плотнее прижался к кусту краснотала, вжался в землю, превратившись в подобие куска ствола дерева, в бревно грязного буро-серого цвета.

Человек прошел мимо, медведица осталась лежать без движения, затаившись, только глаза ее неотступно следили за чужаком. Она бы лежала вот так на полянке и дальше, но встреча с человеком не сулила ничего хорошего. Это было известно ей из прошлой жизни, хотя вот так близко сталкиваться не приходилось, всё чаще убегала, заранее учуяв его запахи, особенно страшные запахи, после которых сильно гремел лес, и сердце замирало от страха.

От чужака исходил привычный человеческий запах с примесью дыма и еще чего-то – ничего опасного. Того, страшного запаха не было. Она готова была пропустить его мимо себя: пускай идет своей дорогой, но человек вдруг свернул в сторону, туда, где так сладко спали медвежата, ее дети. Этого мать позволить не могла.

Гринь уже нагнулся, чтобы половчее сесть, как вдруг за спиной почувал движение. Оглянулся – огромный медведь, стоя на задних лапах, издав оглушительный рык, бросился на Ефима, стараясь подмять под себя.

Он закричал. Рев зверя и человеческий крик почти слились в один, страшный, громкий, режущий слух звук, что мгновенно пронесся по-над рекой, над лугом на том берегу и только в лесу застрял меж густых деревьев.

В последний момент перед броском зверя Ефим еще успел уклониться чуть в сторону и сейчас лежал поперек под брюхом медведя с вырванным клоком телогрейки и содранным с рёбер мясом на левом боку.

Зверь опять чуть привстал, чтобы всей своей массой, всем весом придавить жертву, а потом и разорвать на мелкие куски. Этого мгновения хватило, чтобы человек выхватил из-за пояса охотничий нож и с силой вогнал его в брюхо медведицы, стараясь располосовать, достать до кишок.

Данила ходил вокруг черемухи, высматривая, какой бы сук ловчее срубить, как вдруг звериный рев и человеческий крик резанули по ушам.

– Ефим? – страшная догадка оглушила сильнее, чем сам крик.

Когда Кольцов добежал до обрыва, медведь елозил по неподвижному человеку голыми рваными кишками, что вывалились из брюха, греб, рвал землю когтями, из пасти валила красная пена.

Топор Данилы опускался раз за разом на голову зверя, превратив её в одно кровавое месиво. Остановился, лишь когда не смог удержать окровавленный топор, что вывалился, ускользнул из уставших, дрожащих рук. Выхватил нож и еще несколько раз для надежности пырнул в бок, под лопатку, туда, где должно быть сердце зверюги.

С трудом вытащил тело Ефима из-под туши медведя. Залитый кровью и нечистотами из кишок зверя, с забитым медвежьей шерстью ртом, тот не подавал признаков жизни.

– Ефим, Ефимушка, – Данила встал на колени, пальцами выковырял шерсть с кусками шкуры изо рта друга, услышал, почувствовал еле заметное дыхание. – Ефимушка, родной мой, держись, я сейчас, сейчас.

Сделал, было, попытку поднять и нести его в деревню, потом вдруг передумал и положил под сосной рядом с неподвижным телом зверя.

– Я сейчас, сейчас, Ефимушка! Вот только за конем и здесь, сюда, ты жди, терпи, соседка, дружок мой родной! Фи-и-ма, держись! Я мигом!

Медвежат разбудил рёв матери, и в первое мгновение они пустились, было, от страха наутек, но чем дальше убегали, тем меньше чувствовали ее присутствие. Они вернулись и застыли на краю поляны, застигнутые непривычным, но таким притягательным запахом крови. Даже прибытие еще одного незнакомого существа не могло повергнуть их в бегство: ведь рядом находилась мать, а она не давала команды уходить, лишь грозно ревела.

Данила поднялся, готовый бежать за конем в деревню, в это мгновение заметил на краю поляны стоящих на задних лапах двоих медвежат. Их мордочки были вытянуты в его сторону, туда, где лежала мать. Недолго думая, с силой запустил топором. Тот, просвистев в воздухе, ударил острием прямо в грудь одному из них. Перевернувшись от удара и завизжав от боли, медвежонок пустился в лес, за ним, не отставая, рванул и второй, подбрасывая зад, присоединив к первому визгу от боли свой, не менее отчаянный визг от страха.

Это была первая встреча медвежат с человеком, и закончилась она не в их пользу: потеряли мать-медведицу, и запах этого существа навсегда будет вызывать в их памяти сильную, страшную боль и необъяснимый страх.

– Твою гробину мать! – подобрав топор, Данила бежал в сторону деревни. – Из-за медвежат, знать, она на Фимку кинулась.

– Отец, что случилось? Ой, на тебе кровь? О, боженьки! – всплеснула руками Марфа, глядя на окровавленного мужа. – Уби-и-или! Уби-и-или! – вдруг завопила, заламывая руки.

– Цыть, дура! Разоралась, – Данила успокаивал жену и одновременно подгонял коня, заводя его в оглобли. – Живой я, как видишь, иди, пощупай. И не ори, сказал, детей напугаешь.

На крики Марфы из-за плетня выглянула жена Ефима Глаша.

– Что случилось? Ты чего кричала? Кого убили? – встревожено спросила соседку. – С детьми что-то худое? Ой, Данила, что с тобой? – увидев соседа в крови, в ужасе зажала ладонью рот. – Ой, боже! Что это?

– Оставайтесь дома, я скоро, – Кольцов кинул в телегу несколько охапок соломы из стожка, бросил поперек рядом с плетня, ударил коня кнутом. – Но, родима-а-я-а!

Глаше что-либо говорить не стал, забоялся.

– Ладно, потом скажу, – буркнул себе под нос, усаживаясь удобней в телеге.

На краю деревни догнал молодого лесничего из соседней деревни Борки Кулешова Корнея Гавриловича.

– Садись, поможешь заодно, – пригласил того в телегу. – Беда у нас, Гаврилыч, беда. Медведица Фимку Гриня задрала.

– Да ты что? Не может того быть. Не время шатунов, да и людоедов серёд медведей в наших краях не было, – недоуменно пожал плечами лесничий, усаживаясь спиной к вознице.

– Видно, Ефим стрел медвежат, я их потом видел, пугнул от себя, – пояснил Данила. – Фимка снизу ещё успел матке ножом кишки пустить, когда под ней был, а я уже топором только добил её, а то он сам, Фимка, с ней справился. Зубами пузо медведице грыз. Я потом её шкуру вместе с шёрсткой у него изо рта еле выковырял, и он сразу задышал. Правда, плохо дышал.

– Живой хоть?

– Я ж говорю, вроде дышал, поспешать надоть, чего доброго, не успеем.

– Типун тебе на язык, Никитич. Что ж ты каркаешь? Это ж друг твой и свояк.

– Не ко времени, холера его бери. Тут пахать надоть, а он с медведями ручкаться затеял, – Данила огорченно сплюнул. – Как теперь одному на два дома управиться – ума не приложу.

– Не об том думаешь, живой бы был, и то ладно, – Корней спрыгнул с телеги, взял коня под уздцы: лошадь, почуяв дикого зверя и кровь, заартачилась, не хотела идти на поляну. – Но-о, но-о, не боись, не боись!

Ефим лежал без признаков жизни: разорванная одежда, весь в крови и в медвежьих нечистотах, что застыли на нём грязной коростой.

– Вроде пульс есть, – Корней встал на колени, взял руку Ефима в свои руки, почувствовал слабые толчки крови. – Точно, живой. Давай, Никитич, в больницу срочно. Сказывают, новый доктор даром что молодой, но грамотный.

Вдвоём загрузили Ефима, Данила сел так, чтобы голова друга лежала у него на коленях.

– Не так дрого ему будет, Гаврилыч, – пояснил лесничему. – А ты сходи до жёнки Фимкиной, Глашки, расскажи всё, только не пугай сильно.

– Ладно, ездай. Тут шкуру еще снять надоть, да и мясу зазря пропадать нельзя. Ну, с Богом.

Данила гнал, не жалея коня. Кнут то и дело опускался на круп животного, телега дребезжала, подпрыгивая на ухабах. Страху поддавало затихающее, а то и совсем замирающее дыхание друга. Больше всего Кольцов боялся, что Ефим умрет в пути, не успеет довести до больницы, как тот скончается у него на руках.

Такого слова как «любовь» Данила стеснялся, не признавал и ни разу не говорил его вслух даже жене Марфе, хотя от избытка чувств к ней сердце то замирало, то трепетало, готовое выскочить наружу, не прошенная слезинка могла выкатиться из глаз. Но что это называется любовью – ему было неизвестно. Просто было хорошо, и с него достаточно. Какие могут быть слова? Хорошо – и всё тут!

Так же относился и детям: мог подолгу наблюдать за ними, умиляясь, а то позволял им вытворять с собой всё, что взбредёт в голову детворе, ему это было приятно, не тяжело, не отнимало душевных сил, а, напротив, придавало их.

И отношения с Ефимом лежали где-то в той же плоскости: сколько помнит себя, всегда рядом находился Фимка, всё у них было напололам. Настолько привязался к нему, что и себя не мыслил отдельно. Это была крепкая, настоящая мужская дружба, но ему было не важно, как это называется. Просто готов был ради него на всё, и точка! А тут вдруг такое! А если? Не дай Боже.

– Держись, Фимушка, держись, – то ли поддерживал друга, то ли успокаивал сам себя и всё подгонял и подгонял коня. – Но-о, родимая! Не подведи, выручай, конёк, потом сочтемся, потом.

И конь не подводил: крупные хлопья пены слетали с лошади, шкура от пота лоснилась, светло-коричневая масть превратилась в вороную.

На полном галопе влетел на больничный двор, осадил коня так, что тот вздыбился в оглоблях.

– Тр-р-р! Приехали! Есть тут кто-нибудь? – закричал, не вылезая из телеги, боясь снять, потревожить голову товарища, что придерживал у себя на руках. – Сколько ждать можно, раз туды вас туды? Эй! Кто-нибудь!

– Чего орешь, как припадочный? – из больницы неспешно вышел Иван Пилипчук по кличке Ванька-Каин, санитар с лоснящимися щеками, длинными толстыми руками и такими же ладонями-лопатами. – Баринот стал, сам зайти не можешь? Кричишь тут, леший, людей пугаешь. Привык в своём лесу орать, вот и тут орешь.

– Рот закрой! Конь шарахается, – и уже тише, почти жалобно продолжил, – Фимку медведица задрала.

– Ну-у, если медведица, тогда конечно, – санитар уже подсовывал ручищи под Ефима, прилаживался нести в больницу. – Вот если бы медведь, тогда другое дело, а медведица – она ласкает, она ничего страшного, она ж – баба.

– Ага, ласкает. Просила, чтобы и ты прибежал, поласкался к этой бабе.

– Прекратите разговоры! – Данила не заметил, как к ним подошел высокий молодой человек в белом халате. – Заносите больного в приемный покой, быстро!

– Доктор, доктор, – Кольцов прыгнул с телеги, побежал следом.

Вид молодого врача почему-то не внушал доверия, вызывал сомнение: вряд ли такой молодой, почти юный врач сумеет ли что-то сделать, спасти соседа.

– Доктор, ты, это, с Фимкой-то, смотри, головой отвечаешь! Аккуратней с ним, я шутки шутить не буду, – произнёс немного подрагивающим голосом с угрожающими нотками.

С окровавленным топором в руках и весь в крови Данила выглядел, по крайней мере, устрашающе.

Он сам не заметил и не понял, откуда в его руках очутился топор. Возможно, как засунул за пояс ещё в лесу, так и оставил там.

– Вспомни, хорошенько вспомни, чему тебя учили в твоих школах докторских, а я тут рядом буду, если что, подсоблю, а то и напомнить могу.

– А вы, собственно, кто? – врач на секунду остановился, повернулся к мужчине, смотрел на него спокойно, открытым взглядом, спросил доброжелательно, дружелюбно.

– Я... это... – ступешался Кольцов, только теперь обнаружив в своих руках топор, понял всё и еще больше засмутился. – Я, это, Фима как я, а я – как он, – закончил загадочной запутанной фразой.

Но доктор понял правильно.

– Меня зовут Павел Петрович Дрогунов. Я – врач. Вот и хорошо, что вы переживаете за друга. Но не волнуйтесь, сделаем всё, что в наших силах. А сейчас приведите себя в порядок, да и коня вы загнали, займитесь им, – на прощание доверительно коснулся руки Данилы, мягкая улыбка тронула лицо доктора, и он скрылся за дверью больницы.

Кольцов ещё некоторое время молча стоял на больничном дворе, не зная, куда себя девать, что делать. Ему хотелось быть рядом с Фимкой, помочь, если что, доктору, а то и заставить лечить правильно, если вдруг врач заартачится, чего доброго, цену себе набивать станет. На это дело у Данилы есть веские доводы и способы переломить ситуацию в свою сторону. И ещё раз глянул на окровавленный топор, что по-прежнему держал в руках.

– Это ж надо, – произнёс неопределённо, то ли не веря всему, что случилось за последние часы с ним и его другом, то ли выражая недоверие доктору, то ли удивляясь самому себе, своей решимости. Потом всё же последовал совету молодого врача, взял коня под уздцы, повёл с больничного двора. Выпряг лошадь, долго водил её по лугу между речкой и больницей, потом привязал вожжами одним концом за узду, другим – за телегу, пустил пастись. Сам ополоснулся в реке, свернул толстую самокрутку, прикурил, прилег в телеге, расположился ждать.

– Да-а, вот оно как жизнь-то устроена, итить её налево, – сильно затянулся, стряхнул пепел, повернулся лицом к реке. – Кажется, с германской войны только-только пришли мы

с Ефимом, молодые, неженатые. Однако жизнь не обманешь, время не остановишь, оно бежит и бежит, а будто вчера это было, вот ведь какая петрушка, – мужчина хмыкнул, покачал головой. – Скажи ты. А вот в памяти всё свежо. И, слава Богу, есть что вспомнить.

Глава вторая

– Это ж, какое счастье, что мы с тобой, Фимка, вместе служим, – рядовые Кольцов и Гринь находились в боевом охранении, лежали в окопе на подстилке из лапника.

Данила то и дело привставал, елозил, никак не мог найти сухого места. Который день моросил нудный весенний дождь, тучи зависли над передовой, туман почти не покидал передний край фронта. Снег сошел давно, земля оголилась, дожидаясь тепла и солнца.

В редкие минуты, когда туман еле-еле отрывался от земли, были хорошо видны немецкие окопы, а то и доносилась музыка с их стороны. Тоже, наверное, осточертела им эта война. Правда, немцы успели-таки вкопать столбы и натянуть колючую проволоку на всякий случай вдоль своей передовой линии обороны. А у нас нет, вот поэтому и сидят в боевом охранении русские солдаты, такие как Ефим и Данила, сторожат, как бы немцы сдури не попёрли, не полезли опять в атаку.

– Какого чёрта тут можно увидеть? – Ефим опустил на дно окопа, грубо выругался. – Ещё день-другой, если немцы не убьют, так от хвори подохнешь, или вши заедят. Сколько можно в такой хляби сидеть? Уже всё мокрое: и обувь, и одежда, шинель скоро не поднимешь, так намокла. А вши как будто стали на полное пайковое довольствие на моём теле, не знаешь, куда от них деться, грызут без перерыва.

– Видал, какие окопы у немцев? Любо-дорого сидеть! Доской обшиты, блиндажи, накаты, сухо, удобно, по доскам ходят, суки, так и воевать легче. Может, отбить эти окопы у немчуры? Завидки берут, на них глядя.

– Просто так они не отдадут. Кто ж с тепла да в холод? С сухого да в мокрое, грязное? Нам бы кто смастерил такие, да, видать, некому пожалеть русского солдата.

– А ты иди к ротному, ему пожалься, – Данила так и не нашел сухого места, пристроился в уголке на корточках, прижавшись спиной к земляной стенке. – Там, наверное, полно агитаторов в батальоне. Всё агитируют, агитируют, и сами не знают за что, лучше бы по домам отпустили. Ты домой хочешь, Фимка? Вот, если б тебе сказали: «Рядовой Гринь! Езжай-ка ты, храбрый солдат, на побывку в Вишенки!», отказался, нет?

– А к этому идет. Слышал, вчера унтер один из студентов что кричал?

– Нет, я ж при кухне дневалил, повару Кузьмичу помогал жир нагуливать. Вот же скотина! – Данила с силой стукнул кулаком в стенку окопа. – Зажирел полностью! Леню пальцем пошевелить: засыпь то, помешай в котле это! И таким командирским голосом, таким тоном, будто я ему по всей жизни обязан, будто я повар, а он надо мною царь. Так что там в ротах слышно?

– Говорит, чтобы штыки в землю да по домам. Мол, братья мы с немцами навек, – Гринь облокотился на бруствер, долго всматривался и вслушивался в сторону немецкой обороны, только после продолжил. – Да-а, братья. Так и норовят по-братски насадить наших православных на штык, немчура проклятая, или снарядам на мелкие кусочки разбросать по земле славян, – презрительно сплюнул куда-то за бруствер в сторону немцев.

– Ага, это ты правду сказал, Фимка, – Данила принялся шарить рукой в сидоре, пытаясь отыскать сухарь. – Если бы не ты, гнил бы я в земле сырой уже который день. Спасибо тебе, Ефимка, век помнить буду, по гроб жизни должник я твой.

– Ладно тебе, – недовольно ответил друг. – Заладил опять. Как будто ты бы по-другому сделал.

– Оно, конечно, если бы что с тобой, то конечно. Только я не такой расторопкий, как ты, вот беда, – Данила имел в виду рукопашную атаку вот на этом же поле недели две назад.

Тот день с самого утра заладил на славу: тихо, тепло, солнышко недавно встало, обсушило землю, а сейчас светило, согревая солдат в окопах. Благодать!

Завтрак подвезли горячий, главное – вовремя, пристроились с котелками кто где мог, не успели ложки обмакнуть, как немцы открыли артиллерийский огонь по позициям батальона. Какой уж тут завтрак? Выжить бы.

– Какой день испортили, сволочи, – Ефим бросился на дно окопа, на него тут же свалился Данила.

Оба вжались в землю, шептали молитву во спасение, а снаряды ложились всё ближе и ближе. С нашей стороны полнейшая тишина: хоть бы для порядка в ответ пустили снаряд-другой, и то настроение у солдат поднялось бы, не так страшно было бы погибать, зная, что не ты один на этом участке фронта. А так кажется, что только по тебе и стреляют, что ты один на один с винтовкой против всей немецкой армии. Жутко.

Очередной снаряд разорвался недалеко от бруствера, наполовину засыпав их в окопе.

– Ты живой? – Гринь привстал с земли, стал тормозить Данилу. – Живой, спрашиваю?

– Да живой, живой, – Кольцов принялся разгребать землю. – Винтовку засыпало, холера её бери.

– Вечно у тебя не как у людей, – по привычке буркнул Ефим, и тут же залиvisto и требовательно раздался свисток командира роты – в атаку! – О, Господи! Этого только не хватало, – однако примкнул штык, с надеждой закрутил головой по сторонам, пытаясь увидеть однополчан.

С левого фланга затарахтел наш пулемет, и только после этого Гринь осмелился высунуть голову из окопа – цепью, двумя шеренгами немцы с винтовками наперевес шли в атаку прямо на расположение их роты вслед своим снарядам.

– Приготовиться к атаке-е-е! – гремели вдоль окопов голоса унтер-офицеров. – Штык примкнуть!

– Братцы-ы! Не посралим землицы русской! – взводный прапорщик Цаплин уже стоял во весь рост на той стороне окопа, за бруствером, размахивал зажатым в руке наганом. – В грёба душу креста телегу, в печенки, селезенки и прочую требуху твою гробину мать! Оглоблю им в глотку! Осиновый кол в задницу! В ата-а-аку-у, за мно-о-ой!

– Ура-а-а! – гремело над полем боя, вместе со всеми бежали и кричали рядовые Гринь и Кольцов.

Своего врага Ефим встретил пулей, удачно выстрелив на опережение. Немец разом сложился, упал лицом вниз, уронив винтовку из безжизненных рук, не добежав до рукопашной всего-то несколько шагов.

Данила шел навстречу немецкому солдату, широко раскрыв рот в крике и, как замороженный, смотрел в глаза молодому, высокому немцу с рогатой каской на голове. Винтовку с примкнутым штыком держал крепко, нацелил прямо в грудь врагу. Но в этот миг споткнулся вдруг, упал на ровном месте, только и успел поднять голову, чтобы встретить смерть в лицо.

– Господи, вот и всё, – ещё промелькнуло в голове, волю парализовало, не появилось ни малейшего желания встать, уклониться, только глаза снизу неотрывно, обреченно, заморожено смотрели на кончик немецкого штыка, что приближался с каждой секундой, с каждым мгновением, на котором очень ярко отражалось утреннее солнце. Почему-то именно этот блестящий на солнце кончик штыка отпечатался в сознании, в памяти Данилы. Он потом еще часто снился ему, заставляя вскакивать среди ночи в холодном поту.

Ефим бежал чуть правее и видел, как упал Данила. Немец уже занес винтовку над товарищем, как Гринь в прыжке, с придыханием вогнал в бок врагу свой штык, а удержать винтовку уже не смог, так и рухнул вместе с немцем рядом с лежащим Кольцовым.

Штык немецкого солдата всё-таки скользнул по спине Данилы, разорвав от плеча гимнастерку, оставил на коже глубокий, до кости, след, который тут же заполнился кровью.

– Где я? – первое, что спросил Кольцов, но, увидев Гриня и мертвого немца рядом, всё понял, тут же подскочил, кинулся снова в атаку.

Уже после боя, когда вернулись на исходные позиции, и раненая спина стала саднить всё больше и больше, Данила засобирался в лазарет.

– Схожу, может, отставку от войны дадут хоть на время.

– Ага, сходи. А какой же дурак вместо нас воевать будет? – Ефим пришивал пуговицу к гимнастерке, вырванную в драке, когда сошлись в той рукопашной один на один, скептическим взглядом окинул товарища. – Замажут рану мазью и скажут: «Иди, солдат Кольцов, сложи голову за веру, царя и Отечество, тогда мы подумаем – отпустить тебя со службы али нет?».

– Как это сложить голову, потом отпустят? – с недоумением переспросил Данила. – Тогда мне уже не до царской службы. Встану в очередь на службу к Богу.

– Потому как с передовой тебе только мёртвому дадут вольную, понял, солдат Кольцов? А пока иди уже, а то еще на самом деле загноится рана, да не забудь заскочить в батальон, новости узнай.

Через окопы то и дело сновала похоронная команда, вытаскивали на носилках то ли убитых, то ли тяжелораненых. С той стороны сутились немцы, уносили своих. Иногда похоронные команды противников сходились, о чём-то говорили, курили вместе и так же мирно расходились, продолжали рыскать по полю недавнего боя.

Каждый день на передовой приносил всё новые и новые известия, порой исключаящие друг друга. То одни призывают бросить войну и уходить по домам; то другие требуют вести её до победного конца; то предлагают брататься с немецкими солдатами; то не подчиняться ротным командирам, а слушаться какого-то солдатского совета или комитета. Голова кругом идет: кому верить?

Ротный повар говорил, что на позициях соседнего батальона уже встречались наши и немецкие солдаты, обнимались, как лучшие друзья, а не враги. Чёрт те что! И офицеры ходят, как в воду опущенные: видать, что-то знают такое, что нижним чинам знать не положено. Правда, ещё командуют, но уже в морду не бьют, и то легче. Знать, на самом деле что-то происходит и в армии, и в стране, да только никак не дойдет эта новость до нижних чинов их роты.

А пока приходится довольствоваться теми новостями, что приносят очередные агитаторы. Вот уж кому неймётся: для них передовая как мёдом намазана. Данила с Ефимом не могут никак понять этих людей.

Поручик Саблин шел по траншее в чистом, аккуратно подогнанном обмундировании, будто вернулся только что не из рукопашной, где Ефим видел, как мастерски он отбивался от троих немцем, уложив двоих из нагана, а у третьего – выбив винтовку из рук и ею же заколов противника. Правда, рядом пластались Кольцов с Фимкой и еще несколько наших, не дали гансам подойти к ротному.

– Спасибо тебе, солдат, – остановился у вытянувшегося во фронт Гриня, крепко пожал руку. – Спасибо, солдат! Я всё видел и всё помню.

– Рад стараться, вашбродие! – гаркнул в ответ Ефим.

– Не ори больше, не надо, – сказал устало и, опустив глаза, отправился дальше по траншее.

Через мгновение до Гриня долетело еще несколько солдатских «Рад стараться, вашбродие!», и ротный прошел к себе в блиндаж.

Спустя несколько минут из землянки ротного командира раздался пистолетный выстрел, и окопы облетела страшная весть: поручик Саблин застрелился!

Молодой, чуть больше двадцати лет, потомственный военный, он пользовался непререкаемым авторитетом у солдат. Не бранился, не бил в зубы, как взводные или как другие ротные командиры, не прятался за солдатские спины во время атак, сам вместе с солдатами шел в рукопашную, берёг, не подставлял зря под пули подчиненных, и вдруг такое... Даже неграмотных солдат своей роты заставлял в приказном порядке учиться грамоте, учил лично

читать и писать, расписываться в денежной ведомости, а не ставить крестик. И после всего этого пистолет к виску? Уму непостижимо! Ни в какие ворота не лезет! Почему так устроен мир, что его в первую очередь покидают такие хорошие, настоящие люди, как ротный?

Солдаты собрались у входа в землянку, сняли шапки, молча стояли, смотрели, как выносили безжизненное тело поручика Саблина. Непрошенные слезы катились у многих из глаз. Плакал и Ефим. Было искренне жаль ротного и не понимал: почему такое случилось, что стало причиной, если в бою устояли? Не продвинулись вперед, но ведь и не отступили? Не дрогнули в рукопашной, почему он так? Скажи он солдатам, кто его обидел, так рота этого врага разорвала бы на части, но не стреляться же.

– Может, смерть свою почувал, так решил не дожидаться, а сам пошёл ей навстречу? – высказывались самые суеверные. – Оно зачем дожидаться, томиться в ожидании? Самое тяжкое – ждать смертушки, вон оно на передовой-то. А тут раз, и всё!

– Варезки закройте, – остудили их остальные солдаты. – Какой дурак на передовой будет сам себе смерть искать? Она сама придёт, у тебя не спросит. Тут что-то другое.

– Может, девка? Или карточный долг? Последнее время покойник уж больно часто бегал с полковым священником в лазарет. Толки меж солдат шли, что там, в лазарете, офицеры в карты на деньги играли. Сказал бы, так нашли бы ему и деньги, что зря говорить. Скинулись бы. Такому человеку не жалко. А умереть? И притом сам себя? Странно всё это. Хотя нам, убогим, не понять белую кость.

– Так говорят, у него в Тамбове была краля. А карты? Хотя кто его знает? Сейчас уже не спросишь, а хороший мужик был, что ни говори.

Ясность внёс вернувшийся с перевязки Данила, а за ним на передовую пришли еще несколько агитаторов и подтвердили сказанное Кольцовым.

– Царь отрёкся от престола! Нету больше Николашки над Россеей!

Ни ликования, ни страха эта новость не вызвала у Ефима и Данилы. Отнеслись к ней с крестьянской мудростью: всякая власть от Бога. Видно, угодно ему сменить Николашку – сменил, поставит кого-то другого. Нельзя на Руси без царя. А как он будет называться – какая разница? Как землю пахали, так и будут пахать. Как гнили в окопах, так и будут продолжать ходить в атаки, в рукопашные, гнить, вшиветь на передовой.

– Вот Иван Трофимович Саблин, как истинный офицер, присягнувший государю, и не смог вынести такого позора, – взводный командир прапорщик Цаплин с перебинтованной головой после рукопашной схватки мял в руках фуражку, опустил голову, стыдясь показать подчиненным слёзы. – Русский офицер не может присягать дважды, это факт. Он верен одной присяге. Но Россия-то осталась, что ж он так? Эх, Иван Трофимыч, Иван Трофимыч! Как же это?

Ни Ефим, ни Данила не понимали еще того, что случилось со страной и армией, но крестьянским умом уже начали осознавать, что делать больше на войне им нечего.

Ротным назначили прапорщика Цаплина, но это ничего не изменило в жизни рядовых Гриня и Кольцова: всё так же несли службу, мокли в окопах.

Менять их в охране пришли двое незнакомых солдат.

– Хвастайтесь, православные, как это вам угораздило на отдых попасть? – тот, который постарше, по-хозяйски пристраивался в окопе, поправлял бруствер, углублял нишу под личные вещи.

– Ты что такое говоришь, служивый? – недоуменно воскликнул Ефим. – Какой отдых? Тут на днях Данила в лазарет ходил с раненой спиной, так его даже на день там не оставили. Говорят, иди, воюй, сукин сын! А ты такое...

– Правду бает Семен, – второй солдат перематывал обмотки, прижавшись спиной к стенке окопа. – Ваш батальон уже строится в маршевую колону. Это вы чего-то всё чешетесь, не поспешаете. Может, не хотите в тыл, а здесь останетесь? Так скажите сразу, мы с превеликим удовольствием вместо вас уйдём отседова.

– Побожись! – Данила присел перед солдатом. – Побожись, что не врешь!

– Вот тебе крест, строясь, – и на самом деле перекрестился сменщик. – Мы с Семёном потому и поспешали к вам, а вы тут, лапотники, спите. Можете и остаться, если опоздаете, а мы вместо вас в тёплые и сухие казармы рванём, а, идёт?

– Так что ж это вы так? – Ефим занервничал, ухватил сидор, скатку пристроил на спине, повесил на плечо винтовку. – Не могли сразу сказать, эх вы! – и выскочил из окопа, бегом пустился в сторону расположения роты по чистому полю. За ним не отставал Данила.

И на самом деле, батальон в полном составе выводили на отдых, грузили в эшелоны на каком-то полустанке, куда пришли пешим ходом на вторые сутки.

– Это ж какая благодать! – Данила всё не мог поверить, что в ближайшее время не будет окопов, атак, рукопашных. – Знать, чисты мы перед Всевышним, Фимка, если нас он помиловал? Услышал наши молитвы, слава Богу!

– Не накаркай – война-то не кончилась. Лучше думай, как хорошее местечко занять в вагоне.

Поселили в казармах на окраине Могилёва, недалеко от железнодорожного вокзала.

Первые дни мылись в бане по два раза на неделе – избавлялись от вшей. Пропаривали одежду в вошебойке. Потом чистились, стриглись, приводили в порядок обмундирование.

Ходили в наряды, стояли в карауле и каждый день пропадали на полигоне: учились по-новому рыть окопы, ходить в атаку, стрелять по мишеням, колоть штыком тряпичные чучела. Само собой – строевая подготовка. Без нее – никуда.

Здесь, на полигоне, ротный прапорщик Цаплин не жалел: гонял до седьмого пота. Но не роптали, понимали, что чем лучше усвоишь военную науку здесь, тем дольше проживёшь там, на фронте.

А в остальном – грех жаловаться: сыты, одеты, обуты и в тепле. Разве что матом покроют, так не без этого. Куда ж без мата серед мужиков? То-то и оно! А так ротный – ничего, жить можно, не хуже Саблина, царствие ему небесное.

За лето отъелись, отдохнули, было такое чувство, что про них забыли, потеряли и вряд ли вспомнят. Несколько раз отпускали в город погулять, попить квасу или стопочку-другую водочки можно было пропустить с устатку. Правда, ни Данила, ни Ефим к водке были непривычны: так, за компанию и не более того. А чтобы напиться – такого нет, не было. Хорошо! Как будто и нет войны. Вот только зачастили разные агитаторы в казармы: всё норовят на свою сторону склонить служивых, каждый обещает манну небесную. Надоело.

– Слышь, Данилка, – Ефим прижался поближе, задышал в ухо. – Ты знаешь, что до дома нам с тобой каких-то триста вёрст?

– Ну, знаю. Ты это к чему?

– Слухай, слухай этого балабола и поймёшь, – Гринь указал на очередного агитатора, что распинался перед солдатами роты.

Слушатели сидели на кроватях, курили в спальном помещении.

Последние дни дисциплина не просто упала, она рухнула, исчезла! В кои-то веки русский солдат мог курить в казарме или сидеть на койке в дневное время?! Об этом и мысли не было никогда, а теперь? Перестали воинскую честь отдавать старшему по званию. Правда, перед Цаплиным тянулись во фронт из уважения, но и он ходил как в воду опущенный, с поникшей головой: точь-в-точь как Саблин перед тем, как застрелиться. Если и оживал, так только на полигоне, а в казармах и смотреть на него жалко было. И что это за мода у офицеров? Чуть что – пистолет к виску, и ваши не пляшут. А кого взамен пришлют? Да и по-человечески жаль было ротного: погибать надо в бою, а так? Блажь это всё. Но видно было, что переживал уж больно сильно, взял в голову чересчур, а это надо? Решили спасти мужика, не дать в обиду.

Обговорили это дело в курилке, отправили ходоков к ротному: мол, в голову не берите, ваше благородие господин прапорщик, ну их, этих царей, большевиков, кадетов и прочих

социал-демократов! Вы мужик настоящий, уважаемый, видели вас в бою, труса не праздновал, плохо вам не сделаем. Мол, России такие люди завсегда нужны, при любом режиме. А где ж их толковых наберёшься, если они стреляться пристрастились?

И что в рожу иногда заезжал, будучи взводным, – прощаем. Не ангелы мы – солдаты Российской армии, далеко не ангелы! За спиной у нас не крылышки, а частенько и бес сидит, так что – не переживайте, вашбродие. Серёд солдат иногда лучше в рожу, чем в кандалах по этапу. Что ж, мы не понимаем? А переживать не след. В обиду не дадим, а на солдата русского, если он слово дал, можно положиться полностью. Любому глотку перегрызём, на штык нанижаем, если кто на тебя, ваше благородие господин прапорщик, косо глянет, не то что...

Прослезился даже мужик! А то! Заслужить такие слова от подчинённых – высшей награды офицеру и не надо.

Во второй роте взводного прапорщика Семенюка его же подчинённые и поколотили втёмную, тот на второй день исчез куда-то. Приходили ходоки и к ним в казарму, мол, чего смотреть на офицерьё, бить их надоть, пока тёплые да под рукой.

Но солдаты первой роты выставили гостей за порог, попросили больше не волноваться, не беспокоить, не заходить без приглашения, ноги вытирать перед входом в казарму первой роты, высмаркиваться, предупредили:

– Не дай вам Боже нашим охвицерам да командирам хоть кукиш вдогонку ткнёте – голову свернём, не посмотрим, что хорошо папки с мамками привинтили, а кукиши ваши вам же в задницу и затолкаем! Мы своих в бою видали, не вам чета, поперёд нас в атаку шли, врага на штык нанизывали первыми, потому наших охвицеров не тронь! Пришибём! Если бы не они, ещё неведомо, кто бы из нас сидел здесь живым да с вами, тупорылыми, умные беседы вёл, на путь истинный наставлял.

Не ходят больше, но с первой ротой стали в контру.

– Не может русский человек спокойно смотреть, как топчет немец его родную землю! – агитатор, подпоручик из соседней роты, стоял на табуретке, яростно размахивал зажатой в руке фуражкой. – Не верьте большевикам! Они предали Россию за тридцать сребреников. Это изменники, хриstopродавцы! Наша партия требует войны до победного конца! Только полный разгром немецкой армии и изгнание врага с нашей земли должны двигать истинными патриотами Отечества, их помыслами, мыслями и поступками. На фронт! Только на фронт! Добьем врага, вот тогда и отдохнём!

– Ты понял, о чем говорит подпоручик? – Ефим опять наклонился к Даниле: из-за общего шума и криков в казарме приходилось напрягать голос.

– Вот пускай сам и воюет, с меня хватит, – Кольцов принялся крутить очередную сигарку. – Пусть поищет дураков в другом месте.

– Пошли, выйдем на улицу, дышать нечем, – Ефим за рукав дернул Данилу, приглашая следовать за собой.

Там, за казармами, они обговорили все детали побега: ещё день-другой, и могут отправить на фронт. Не может быть, чтобы забыли целый пехотный стрелковый батальон. Надо спешить. С фронта уйти вряд ли получится, могут вынести вперед ногами, вот это больше похоже на правду.

– Оно, конечно, но страшновато, Фима, – Кольцов как и соглашался, однако дисциплина, вбитая в голову за время службы, еще удерживала его, не могла отпустить вот так – легко.

– Мне тоже не того, – понял друга Гринь. – Но и оставаться здесь, положить голову за какого-то дурака уже не с руки. Да и армии как таковой уже нет. Это где видано, чтобы в расположение воинской части свободно заходили разные студенты и агитировали служивых? Барышень только не хватает.

– А винтари брать будем или куда их? – Данила вроде решил, но и немножко дрейфил: вдруг что?

– С собой заберём: вишь, какая смута, могут пригодиться. Да и дорога неблизкая. Патронов надо будет взять поболее, в Вишенках не найдём.

Более решительный Ефим на днях приглядел за пакгаузами несколько механических дрезин. На одной такой он уже ездил: месяц назад его отправили отвозить шинели в палаточный полевой лагерь, где стояла одна из рот их батальона. Ему понравилось: и легкая – можно вдвоём перенести в любое место, и хорошо бегаёт, только нажимай на коромысло-качалку. Даже сидушки есть: сиди себе, отдыхай, любуйся природой!

– Дрезину возьмём, доедем до уезда, а там пёхом до дома.

– А может, паровозом, так сподручней? – засомневался товарищ. – Да и быстрее дело будет.

– Оно так, – не соглашался Ефим. – Только в вагонах ещё объясняться придется: куда, мол, да зачем?

С вечера запаслись сухим пайком, махоркой, сухари и спички завернули в пергамент, приготовились.

Уходили рано, еще солнце не встало, горнист не играл «зорю», а они уже были за пакгаузом и сразу столкнулись с первой преградой: дрезины охранял часовой!

– Как же так? – недоумевали оба. – Еще вчера тут никакого чёрта не было, а сегодня – вот он, родимый, только без рожек, зато с винтовкой стоит как миленький! Видно, начальство опередило нас. Кто ж тебя, мил человек, сюда воткнул, да ещё и винтарь в руки дал? Пукалка небось без патронов, иль тебе командиры доверяют уже и боевое оружие?

– Назад, назад, братцы, не вводите в грех, – часовой размахивал оружием, отгоняя посторонних подальше от поста. – Не положено!

– Нам по делу, Цаплин послал, – нашелся Ефим. – Съездим верст на десять отсюда, да обратно к утру здесь будем. Тебе, дураку, даже букет крапивы с лопухами привезём. Будешь весь в цветах, как яловая тёлочка перед быком.

– Не положено, – стоял на своём часовой.

– Вот дундук! Вот чучело огородное! – заругался Данила. – Тебе русским языком объясняют, что по делу мы, и к утру твоя сноповязалка будет на месте!

– А за оскорбление личностей при исполнении можешь и в харю схлопотать, – обиделся часовой и решительно направился к друзьям. – Ты кого дундуком назвал, лапоть деревенский? Кто тут чучелом поставлен?

– Но-но, я не посмотрю, что ты при исполнении, – разошелся Данила. – А за лапоть и ты схлопочешь, не соскучишься!

Назревал скандал, тем более, солдат полез в карман за свистком, и готов был вот-вот вызвать из караула подмогу. Это не входило в планы беглецов, и Ефим пошел на хитрость.

– Извини, барин, сырых и убогих деревенских дураков, – и поклонился до земли. – Прикажи отправить нас на конюшню, чтобы выпороли розгами, – и снова поклонился.

– Бросьте вы, какой я барин? – расплылся в улыбке часовой. – С воронежской губернии я, такой как вы.

– Так чего ж кобенишься, браток? – серьёзно спросил Гринь. – Ты сколько дрезин принимал?

– Не понял? – растерялся часовой. – Не считал я, взводный поставил, вот и стою. Сказал, не пущать никого до железок, вот я и не пущаю вас. А сколько их? А холера их знает, сколько их, что б они провалились! Из-за них со своим братом-солдатом ещё погавкаешься. Но и вы меня понять должны: на пост я поставлен и служить должен, свою работу исполнять обязан, вот так-то, славяне-христиане. За то харчи да одёжку с обувкой мне дают. Отрабатывать надоть.

– Правильно! Так и положено. Мы что, без понятиев, что ли? Но ты же не считал, когда принимал, вот и сдашь, не считай, холера их бери эти молотилки! – подсказал Ефим. – А людям хорошее дело сделаешь – выручишь своего брата-солдата.

– Оно так, православные, да только боязно что-то.

– Не бойся, чего и кого бояться сейчас? – пришел на помощь Данила. – Командиры сейчас, как пуганые вороны, каждого куста бояться, а ты говоришь – боязно.

– Правда ваша, а только непривычно это – не бояться командиров. Не по-нашему это, не по-солдатски. А вдруг что? Тогда что?

– Понимаю, братец, но и ты нас пойми – по делу надо. Да и не мы с тобой армию развалили, так что не переживай, пехота, – Гринь уже направился к дрезинам.

– Погодь маненько, браток, дай привыкнуть, – остановил его часовой. – Может, сначала покурим вашего табачку, а уж потом...

– Я тебе, Ваня, двойную сверну, с оглоблю толщиной, – Данила полез в карман за кисетом. – Кури, Ванёк, кури и не кашляй, я – не жадный, в отличие от тебя.

– Откуда меня знаешь? – удивился солдат. – Вроде не ручкались с тобой.

– А тебя все в батальоне знают, – польстил Данила, хотя до этого не знал даже о его существовании и видел впервые. – Вот и я знаю. Это же ты на днях прибыл с пополнением, кила ты воронежская?

– Ага, я. Ну, тогда ладно, пошли к вашим молотилкам-сноповязалкам, – довольная улыбка опять повисла на небритом лице часового. – Коль мы знакомцы, куда теперь от вас деваться? Оно и правда: не считал я их и дальше считать не буду, а своим братьям-славянам помогу, так и быть. Тем более, в кисет запустили, поговорили хорошо. Душа радуется от такого разговора и такой самокрутки, чтоб у вас самих кила промеж ног выскочила.

Незлобно подшучивая друг над другом, направились за пакгауз. Втроём выбирали, какую получше, даже переворачивали, крутили колеса – не скрипят ли, не болтаются ли? Наконец, выбрали, солдат помог дотащить до путей, установить на рельсы, подтолкнул.

– Ну, бывайте, православные. Могёт быть, и я завтрава подамся до дома, – и ещё стоял с минуту, махал на прощание рукой, прищурившись от восходящего солнца, зажав в зубах толстую, в палец толщиной, козью ножку из Данилова кисета. – Оно всё так, оно всё правильно. Не мы, служивые, Расею предали, а сам царь-батюшка ей в рожу плюнул, сбежал, а нам за него отдувайся? Всё правильно братушки делают, да и мне пора до дому, до хаты.

За город выскочили быстро: не успели хорошо разогреться на рычагах, разгоняя дрезину, как пригород кончился, а впереди, как глаз видит, ровные струны рельс да густой лес по обе стороны дороги. Хорошо!

Постепенно вошли в ритм и еще ехали с час, пока впереди не показался паровоз. Пришлось срочно остановиться, снимать дрезину с пути, переждать, опять устанавливать и снова входить в ритм.

Потом их несколько товарных составов догоняли, опять заминка в движении. Но всё время и одного и другого не покидало чувство некоего страха, опасения, что за ними могут учинить погоню как за дезертирами. Это ж где видано, чтобы солдат сбежал со службы? Но сами себя успокаивали, рассуждая в который раз, что не они эту войну начинали и не им её заканчивать. Был бы царь на месте, тогда, конечно, служили бы. А так, он сам отрёкся, почитай, сбежал от войны. А причём тут рядовые его царской русской армии Гринь и Кольцов? То-то и оно!

Как бы то ни было, однако подъезжали к какому-то полустанку с опаской. Вдруг арестуют? Кто его знает, какие мысли у ротного прапорщика Цаплина? Обнаружит, что пропали два бойца, да и поднимет шум. Часовой молчать не клялся, выдаст в момент.

Ефим переводил стрелку, Данила сидел на рычагах, когда к ним подошел человек в форме железнодорожника.

– И кто вам дал казенное имущество, служивые? – его грозный тон и представительный вид не вызвали сомнения, что перед ними какой-то начальник.

Монокль в глазу гневно поблёскивал, аккуратная бородка топорщилась, и только сложенные за спиной руки выдавали в нём уравновешенного человека.

– Ну, я слушаю, – требовательно повторил он.

– Дык, это... – Ефим как-то растерялся сразу, встал во фронт. – Дык, это, мы по делу, господин начальник, вашбродие. Вот.

– Погодь минутку, не сепети, – сразу нашелся Данила, обращаясь к товарищу, и тут же накинулся на пришельца. – А ты кто такой, чтобы спрашивать служивых, а? Тебе какое дело, куда направляемся мы? Военная тайна, может, это, а ты, может, шпиён немецкий? Ну, отвечай, что стоишь, лупаешь глазами? – сам встал во весь рост, взял винтовку на изготовку, гневно уставился на человека. – Обвешался блёстками, как сорока, и туда же – в начальники!

– Позвольте! – железнодорожник опешил, снял монокль, принялся тщательно протирать удивительно белым платочкам. – Позвольте, как смеее так со мной разговаривать? Я – помощник начальника...

– Да плевать я хотел, чей ты помощник и кто у тебя начальник, – Кольцов уже слез с дрезины, встал сбоку от незнакомца, коснулся штыком его плеча. – Нам уже и царь-батюшка не указ, а ты – и подавно!

– Вы не смеее так со мной разговаривать! Я нахожусь при исполнении служебного долга! При любой власти существует государственная собственность, а вы её похитили, – не сдавался незнакомец. – Я вынужден вызвать караул!

Человек принялся нервно шарить в кармане, вытащил свисток, вот-вот, было, не засвистел, как Гринь схватил за руку, отвел в сторону.

– Вот это зря, положь обратно в карман свистульку, тебе же лучше будет, вашбродие. Не проглоти от усердия.

– Ага, – опять вмешался Данила. – А то вставим туда, куда ты не вставляешь. А ещё лучше – отдай её нам. У нас надёжней будет, спокойней, – и с силой вырвал из рук железнодорожника свисток.

– Хамы! Скоты! Как смеее ...– договорить не успел, как от сильного удара Кольцова сложился к ногам беглецов.

– Вот это ты зря, барин, не подумавши, – и уже товарищу: – Тикать надоть, Фимка, пока другие не сбежались, – Данила уже толкал дрезину, разгонял её. – По-моему, стекляшку я ему разбил, вот беда, как же он глядеть-то будет без стекляшки-то?

– Зря ты так, Данилка, – укорял друга Ефим, когда отъехали от злополучного разъезда на достаточное расстояние. – Он бы и так оставил нас в покое.

– Ага, оставил бы. Ты слышал, как он нас? Хамы, говорит, мы с тобой, да не просто хамы, а скоты.

– Прижухли нынче баре, а этот то ли не понял, то ли слишком наглый.

Местом для отдыха выбрали на повороте, где рельсы уходили вправо, чуть-чуть спускаясь книзу. Слева густой стеной стоял лес, справа – начиналось большое картофельное поле. На всякий случай дрезину отнесли подальше от железной дороги, спрятали за кустами, уселись на неё, развязали сидоры, перекусили всухомятку.

– Чаю бы, как-то не подумали, – Данила пристроился крутить сигарку, Ефим лег спиной на землю, широко раскинув руки. – Или хотя бы кипяточку.

– Хорошо, Данилка! Даже не верится, что домой едем.

– Хорошо-то хорошо, но что нас дома ожидает, вот вопрос? – Кольцов сильно затянулся, шумно выпустил дым изо рта. – Что делать дома будем? Опять к пану Буглаку в работники?

Ефим развел руками, удобней расположился на траве.

До войны оба работали у пана Буглака: Данила был младшим конюхом на конюшне пана, Ефим – подмастерьем на винокурне. Если бы не забрали в армию, то и неведомо, кем они к этому времени уже были бы. Сулил управляющий имением немец Функ Рудольф Францевич перевести Данилу в старшие конюхи, а Гриню как-то обмолвился, что, мол, пора и мастером

становиться, потому как настоящий мастер Аникей Никитич Прокопович к тому времени уже состарился и еле передвигал ноги по цеху.

У одного и второго были и есть свои наделы, всего по десятина, но – свои. В любом случае с голода не помрут. Только бы волю целы были: без них не вспашешь.

– А я знаешь, о ком подумал? – Ефим мечтательно улыбнулся. – О Глаше и Марфе – соседках наших. Небось, выросли уже, заневестились?

– И что ты подумал об них? – Данила даже подался вперед. – И об ком больше?

– Не знаю как тебе, – Гринь сел, поджав под себя ноги по-турецки. – А мне глянется Глаша.

– Ты гляди! – воскликнул товарищ. – А я-то на Марфушку глаз положил ещё до войны, дорогой Фимушка! Думал, грешным делом, в одну девку мы с тобой зенки впёрли, ан нет, порознь. И слава Богу. А то как бы делили одну на двоих-то? Неужто в контры пошли бы, а?

Ефим не ответил, только молча вытянул в сторону Данилы руку с открытой ладонью. Кольцов с чувством ударил сверху.

– Приедем домой, сразу под венец поведём девок наших, а, Фимка?

Гринь промолчал, только утвердительно кивнул головой, засыпая. Рядом, подложив под голову котомку, пристроился и Данила. Покойно было на душе, благостно. Не верилось, что совсем недавно ходили в атаку, гибли товарищи, сами еле избежали смертушки. Э-эх, жизнь!

Тихо шумели деревья над головами, мерно постукивали колёса проходящего мимо состава, убаюкивая. Осенние, сменившие летнюю белизну на серый цвет облака бежали в попутном направлении, туда, где на берегу тихой и ласковой речушки Деснянки стояла деревенька Вишенки. Окружённая лесом и речкой, она притихла, притаилась в ожидании очередных крутых перемен в своей истории.

Домой пришли затемно: ни огонька, только собачий лай нет-нет, да нарушал ночную тишину.

К избам не сразу кинулись, а сначала в конце огородов спрятали винтовки, укутав их рядом, что висело на соседском плетне. Каждый прятал отдельно: кто его знает, вдруг обнаружат? А тут сразу две! Нет, надо всё предусмотреть, потому и по разным местам припрятали.

Вишенки не изменились, только пополнились несколькими вдовами да прибавилось инвалидов.

Аким Козлов, который воевал где-то в Карпатских горах, вернулся без правой ноги чуть ниже колена и теперь шкондылял на деревянном протезе, что сам же и выстругал из сухого липового чурбачка да прикрепил его кожаными ремешками к отстреленной ноге.

Никита Кондратов, одногодок Ефима и Данилы, был уже дома. Правда, травленный в окопах газами, всё кашлял и отхаркивал кровавой слюной. Однако надеялся, что в Вишенках при таком лесе да речке сможет, в конце концов, выдохнуть немецкий газ из себя и снова заживёт как человек. Хотя это не помешало ему жениться сразу же по приезде из госпиталя и взять в жёнку старшую дочь-перестарку слободского попа Василия Агафью с приданым в одну десятину земли и парой рабочих волов-трёхлеток.

Об этом Никита поведал в первую минуту встречи с Гринем и Кольцовым. Он же и рассказал, что всё так же вся округа работает на пана Буглака, только управляющего имением Функа Рудольфа Францевича не стало: сбежал! А перед этим сгорел его дом и все надворные постройки. Молва идёт, что он сам же и поджёт, но кто его знает, так оно или нет? В придачу ко всему исчез вместе с управляющим и племенной жеребец из панской конюшни, которого очень уж любил пан и возлагал на него огромные надежды. Вот и думай теперь.

Поговаривали люди, что дал Функ дёру в свою Германию, прихватив немаленькие деньжищи у пана Буглака. Правда это или врёт народ, как обычно бывает в таких случаях, достоверно неизвестно, сам Буглак не говорил, но слухи ходят. Вроде как перед бегством посещал управляющий Земельный банк в волости, и со счетов пана кругленькая сумма исчезла.

Дыма без огня не бывает, рассудили Гринь с Кольцовым, и с надеждой на повышение в работе распрощались. Обещал-то управляющий, а не сам пан.

Старый Буглак к этому времени одряхлел, только изредка появляется на людях в пролётке, весь закутанный в тёплые одёжки даже в летнюю жару. Не стало той прыти, как раньше, когда он поднимался ещё до восхода солнца и к утру успевал объехать, окинуть хозяйским глазом всё имение, амбары, склады, луга, а заодно и воспользоваться на минутку зазевавшейся молодецкой.

Конь под ним к концу поездки был уже весь в мыле, тяжело водил боками. Крут был, но и хороший хозяин. За это и ценили пана. Одна беда: больно чужих баб любил. Если которая запала пану, то уже всё: кровь из носа, но своего добьётся. Поговаривают, что за всё это время, пока Буглак панствовал в округе, не в одной крестьянской семье паньчех да паненок отцы воспитывают, не догадываясь об этом.

Руководил именем теперь сын Буглака прыщеватый, длинноволосый студент Семён Казимирович. Блеклые с красными прожилками глаза его вроде и смотрели на собеседника, но было такое впечатление, что они не видят или смотрят мимо, как будто взгляд проходит сквозь человека, не задерживаясь.

– И что вам надо? – управляющий смотрел сквозь Данилу, потом перевёл невидящий взгляд и на Ефима. – Откуда вы свалились? Почему я вас не знаю?

Данила с Ефимом дожидались управляющего на въезде в деревню, и вот дождались. Он подъехал в пролётке, запряженной вороным конём со звёздочкой на лбу и белыми от колен ногами.

Семён Казимирович вышел из пролётки, разминал затёкшие ноги.

– Дык, это, тутошние мы, с Вишенок, – Гринь чувствовал себя неловко перед этим молодым человеком, переминался с ноги на ногу. – На винокурне работал я, Гринь моя фамилия, подмастерьем был, вот. А Данилка – у вашего батюшки на конюшне конюхом, младшим. Кольцов он, Данила Кольцов.

– А где были вы до сих пор? Почему я вас раньше не видел?

Даже то, что парни стояли перед ним в солдатской форме, не натолкнуло его на очевидные выводы, вот и спросил. А может, и не хотел думать?

– На фронте, панночку, к немцам отправлял ваш родитель воевать, – Ефим уже терял терпение говорить и объяснять. – Три дня тому вернулись с фронта, работать надо.

– Что-то я не пойму, – студент тряхнул космами. – Война не кончилась, а вы почему здесь? Кто вас отпустил? – вдруг напрягся студент. – Может, урядника вызвать, чтобы он с вами разобрался?

– Как почему? – Данила уже не мог терпеть и молча стоять сбоку. – Конец, барчук, войне, ко-нец! Царь войну начинал, царя не стало, и война закончилась. Что непонятно? И причём тут урядник? Сейчас каждый сам себе и царь, и урядник.

– Ты как со мной разговариваешь? – управляющий побледнел, сорвал с Данилы шапку, бросил на землю. – Как смеешь так со мной говорить, хам? Шапку долой! – накинулся и на Ефима, сделал попытку сорвать его головной убор.

Однако Гринь успел уклониться, и рука студента только царапнула по лицу Ефима. В это мгновение Данила ухватил за волосы управляющего, резко дёрнул на себя и с силой наклонил к земле.

– Подними шапку и положи её на место, – тихий звенящий шёпот не предвещал ничего хорошего. – Ну, господин студент! Что-то я в последнее время нервным стал, так что поспешай, барин, пока я не взбесился, а не то за себя не отвечаю.

– Пусти, пусти же, сволочь! Тебе же лучше будет! – молодой Буглак пытался вырваться, хватал руками за руки Кольцова. – В околоток, сегодня же в околоток засажу!

– Шапку, ну, быстро! – Данила был непреклонен.

От стыда или от боли, а скорее от того и другого, из блеклых глаз студента брызнули слёзы, и только после этого надменное выражение лица стало понемногу приобретать человеческие черты: на нём отразились страдания и боль.

Дрожащими руками поднял шапку, протянул Даниле.

– На, только сегодняшней день для тебя будет последним на свободе. На каторгу загремишь как миленький. По этапу пойдёшь, сволочь голоштанная!

– Нет, барчук, так не пойдёт! Ты мне её отряхни да повесь туда, где она была.

Хлопнув шапкой о колено, управляющий нахлобучил её на голову Данилы и сделал, было, попытку сесть в пролётку, но дорогу загородил Ефим.

– Ты, мил человек, нас не пугай, пуганые мы, – лицо слегка побледнело, говорил отрывисто, твёрдо глядя в глаза молодому Буглаку. – Вокруг оглянись, перед тем как в полицию бежать. Леса здесь тёмные, нами исхоженные, каждый кустик – дом родной, не то, что для тебя. Если что – сгоришь в своём замке с мамами-папами, понял, книжная твоя душа? Нам терять нечего. Только перед тем, как имение ваше пустить в расход, мы постараемся тебя встретить, поговорить, чтобы ты зрелище это не проморгал. Уж больно хочется поглядеть на тебя – жареного. А ещё можно отправить мерить дно в омуте, понятно я говорю? Мишка Янков, рыбак наш местный, говорил, что сомы на омутах изголодались, жрать просят. А они больно барчуков любят.

Сделал шаг в сторону, пропуская студента, и в тот момент, когда руки управляющего ухватились за пролётку, Гринь с силой поддал тому под зад.

Молодой Буглак не удержался, больно ударился грудью, уцепился за подножку.

– Разбойники! Каторжане! Плачет по вас веревка! – вскочил в пролётку, перетянув коня кнутом, развернулся и направился обратно в имение.

– Плакала наша работа, накрылась, это точно. Думай теперь, как зиму зимовать будем, Фимка, – Данила смотрел вслед управляющему, чесал затылок.

– Думаешь, в околоток не поедет?

– Забоится. Он трусливый, – уверенно ответил Кольцов. – Пойдём лучше к Глашке с Марфой. Приглашали, как не зайти.

– Девки девками, а что есть будем? Как жить, к Буглаку дорога заказана, факт, – Гринь ещё не отошёл от стычки со студентом, нервно тербил шапку. – На наших огородах бурьян да крапива хорошо уродились, не мешало бы в зиму на твёрдый заработок взбиться.

И Данила, и Ефим по приходе с фронта застали свои хатёнки с заколоченными окнами. Всё это время они находились под охраной сельской общины. Волы тоже работали на общину, стояли на сельском скотном дворе рядом с выездными конями старосты.

Как рассказали соседки Глаша и Марфа, мать Ефима умерла в третью зиму после ухода сына в армию, а отец Данилы ещё протянул до прошлой весны, пережил самые холода и уже по теплу, после посевной, застыл на завалинке.

Нет, не от голода. Сразу по призыву на службу сыновей родителям из уезда раз в месяц привозили по четырнадцать рублей от волостных и уездных властей, да по пять рубликов сельский староста приносил из поселковой казны. Так что деньги у них были. А вот здоровья Бог не дал: не дождалось сынов.

Девушки пытались, было, сообщить сыновьям о кончине родителей, но сами грамоте не обучены, написать не могли. Ходили к местному грамотею Кондрату-примаку, да тот назвал такую цену за услугу, что девчата от стыда потом отходили ещё с месяц. И при упоминании о писаре краснели, теряли дар речи. Похабник!

Парни видели этого прощелыгу, человек новый в деревне, появился уже после ухода Ефима и Данилы в армию, пристал к солдатке Агрипине Солодовой. Муж её помер от ран в самом конце ещё той прошлой, японской, войны. Она осталась с тремя детишками на руках. Долго тянула одна, кое-как справлялась, но, видно, её силы истощились, вот и взяла примака.

Но рожу отъел – дай Бог каждому! И гонористый, прямо жуть! Глазки похотливые смотрят сквозь узенькие щёлочки, так заплыли жиром. А замашки барские уже появляются: вишь, не первый здоровается, а ждёт, что его поприветствуют, и только потом он соблаговолит ответить, а может и не ответить.

Спасибо армии: и Гринь, и Кольцов там обучились грамоте, теперь могли составить бумагу сами. Всё ж таки низкий поклон ротному покойному Саблину, что вечерами в приказном порядке усаживал за столы безграмотных подчинённых и обучал читать и писать. Некоторые роптали, мол, ни к чему грамота, деды-прадеды жили и мы проживём. Но у поручика были свои взгляды, и за уклонение от учёбы следовало строжайшее наказание.

Правда, Ефим знакомился с буквами ещё раньше, когда работал помощником мастера на винокурне. Тогда управляющий Функ готовил из Гриня замену мастеру Аникею Никитичу Прокоповичу и заставлял учиться. Но ученик не очень-то был прилежным. А вот в армии – другое дело: ротный наказывал за плохую учёбу, и парни старались. Куда денешься? Чем под винтовкой на жаре стоять, лучше букровку-другую выучить. Так и осилили грамоту. И теперь, прежде чем свернуть из газеты папироску, Данила просматривал, что там написано, и только после этого крутил самокрутку. Ефим, тот ещё бойчее читал, чем друг. Вот и думай теперь: прав был покойный Саблин или нет, когда заставлял учиться своих подчинённых.

Глава третья

Глаша и Марфа попеременно выглядывали на улицу, высматривали Данилу с Ефимом. Обещались прийти в гости, но всё никак не придут: то ли заблудились, то ли кто-то другой дорогу перешёл им?

Первый раз третьего дня встретились на улице, даже в дом не зашли. Постояли, поговорили, и парни разошлись каждый в свою избу. Сказали, что зайдут позже с очень серьёзным разговором. Договорились на сегодня. Вот девчонки и готовились к гостям, хотя вслух не говорили об этом, боясь сглазить, а делали уборку в доме, во дворе, готовили, как будто такое они проделывают каждый божий день.

Стол накрывать загодя не стали, из суеверия, но всеготовки уже ждали своей очереди, своего часа. Тушёная с мясом картошка томилась в печи, солёные грибочки, малосольные огурчики, мелко нарезанные кусочки сала, козий сыр, литровый кувшин вишнёвой наливки стояли в задней хате на скамейке за шторкой. Только свежесдобитый хлеб лежал на столе под домотканым рушником, да чарки выставили на подоконнике.

Марфа в который раз фартуком смахивала невидимую пыль с лавки, то хватала веник, то опять и опять пыталась подмести и без того чистую хату. Глафира если не выбегала на улицу, то неотрывно смотрела в окно, нервно теребя кончик платка. Волновались, ждали Ефима и Данилу, выбелили избу, вычистили. Во дворе выгребли до земли граблями, промели дорожки, речным песком посыпали.

Почитай, с малых лет живут девушки одни. Старшей Марфе было тринадцать, а Глашке – двенадцать лет, как их мамка с папкой утопили в Деснянке. Да и утопили-то как! Вместе. Взались за руки, прижались друг к дружке, да и прыгнули с берега в омут. Так и нашли на второй день обнявшимися на отмели, куда их вынесла река.

Разные толки ходили, молва долго не утихала, и так и этак судачили люди. Но одна версия больно походила на правду.

Мамка красавицей была, да такой красавицей, что пан Буглак не давал ей проходу, всё норовил усадить в пролётку, увезти в укромный уголок, то зазывал в покои, обещая манну небесную. А она противилась и однажды при всех ударила пана по лицу, когда тот стал её лапать на кухне, где женщина работала посудомойкой. Мало того, исцарапала его, оставив на панском лице глубокие шрамы от ногтей. И это всё при прислуге-то!

Муж, прознав об этом в тот же день, «ссадил» оглоблей пана с лошади во время вечерней прогулки. На полном скаку старый Буглак так грохнулся на землю, что сломал руку, и что-то случилось с позвоночником.

Неведомо, что думали родители Глаши и Марфы, но в руки жандармов так и не дались: сбежали на берег Деснянки, да и кинулись в омут.

На кладбище хоронить не стали, а закопали на тёмной стороне за рвом, что опоясывает деревенский погост.

Вот с тех пор и живут девушки одни. Правда, по-соседски Грини и Кольцовы да дед Прокоп Волчков не дали забрать сироток в приют, отстояли на сельском сходе.

Так и остались в своей хатёнке, только уже под присмотром соседей и всей общины.

Старшая Марфа мыла полы в поселковом доме, в уборочную страду нанималась батрачить, зимой ухаживала за чужими детишками, сопли им вытирала.

Глашка всё больше в подпасах ходила да полола огороды состоятельным землякам. Но и свою десятину успевали обработать, посадить картошки, пшенички, ржи по клочку засеять. Помогали соседи: и вспашут, и помогут убрать, цепами обмолотить, смолоть. Грядки у дома содержали. Как же без грядок в деревне-то?

Но уж когда вишня созревала, без девичьих рук никак управиться нельзя было. Приглашал управляющий Функ Рудольф Францевич. Шли и работали, зато и наливочка в доме всегда была. Вишнёвая, запашистая, хмельная. И копейка водилась.

А потом и яблоки поспевали. И снова девушки в саду. За работу платили этими же яблоками. Смотришь, к зиме и дубовая бочка мочёных антоновских яблок стоит в погребе, дожидаются они своей очереди. Рядышком такая же бочка солёных грибочков – груздей, что не поленились, насобирали девушки в лесу. Солёные огурцы да квашеная капуста – само собой.

И куры есть, и поросёнок сытенький хрюкает в стайке. Вот только на корову так и не уподобило взбиться: сила мужская нужна её содержать. Могли бы и сами накопить сена на зиму. А сметать, перевести? То-то и оно. На козу ещё куда ни шло, второй год как обзавелись, держат. Спасибо, без молочка не скушают. И родителю Данилкину дяде Никите досталось попробовать, когда захворал он в прошлом году.

Ухаживали за ним, оберегали. Но от смерти так и не смогли уберечь. Кто ж от неё уберечься может? Вышел по весне на солнышке погреться, сел на завалинку, так и не встал боле. Хотя посевную отвёл, за плугом и бороной отходил как обычно. Девчата прибежали с работы, глядь, а дядька Никита не дышит, остыл уже. Сами же и схоронили, сейчас ходят на кладбище, за могилками ухаживают.

Сильно убивались, когда Фимкина мама тётка Пелагея померла. Она ж для них заместо мамки родной была, жалела их, ласкала. В первые дни, когда родителей схоронили, она ночевала с девчонками в их избе, успокаивала, готовила, одежду стирать помогала. Разве ж могли детские ручки хорошо выстирать? И потом женским премудростям обучала. По осени вместе убирала в огороде, учила управляться с капустой, яблоками, готовить их к зиме. Не сразу далось такое крестьянское женское мастерство, однако учительница была настойчивой, а ученицы – прилежными. Сейчас благодарят Бога, что в их жизни помимо мамки родной была и тетка Пелагея Гринь.

Когда парней в армию забирали, Глаша с Марфой были ещё подростками угловатыми, неуклюжими. Такими их и запомнили Ефим с Данилой. Но теперь уже заневестились, красавицы. Все говорят, что в мамку свою они вышли лицом и статью. Вон как мужики на них заглядывают, парни на посиделки приглашают хороводы водить.

На Пасху сваты приезжали со Слободы, сватали старшую Марфу. Вдовец один с четырьмя детишками решил, было, засватать сиротку. Мол, в приданое нечего положить, рада будет и на чужих детей пойти. Кто ж её возьмёт, без приданого-то? Кому она нужна? А тут – хозяин! И земли пять десятин, и не дом, а хоромы. Скота полный двор, женские руки нужны как никогда на такое хозяйство. И от прежней жёнки осталось уйма кофт да платьев – чем не удачное замужество? Про обувь и речи нет. Сапожек только сафьяновых две пары, это не считая туфель. Муж любил покойницу жену, не жалел для неё ничего. Да любая за счастье почитать должна пойти замуж за такого завидного жениха! Об этом обмолвился захмелевший сват.

Не до конца соблюли девушки традицию сватовства, выгнали сватов взашей, чему был несказанно рад сосед дед Прокоп Волчков, который по простоте душевной взялся играть роль посаженного родителя невесты.

– Наш товар ценнее всего вашего купца с его потрохами! – горячился Прокоп Силантыч после стакана казённой водки. – Мы ещё вам телегу навоза дадим, только чтобы к нам ни ногой больше! Ишь, что удумали! Ты лучше вдовушку, которая с дитёнками, засватай, туда свой выводок пусти, вот и будет у вас коммуна, холера тебя бери! А то невинную красоту в этот бедлам? Да за такими красавицами, как мои соседки, из самого уездного города охвицера приедут в каретах на тройках! А мы ещё подумаем, поломаемся: соглашаться, ай нет? Выкупы потребуем, а как же!

Ой, и смех и грех с этим дедом. И скажет же: охвицера приедут! Никто им не нужен, кроме Данилки с Ефимкой.

Приданого нет, но и что? Что ж они, перестарки или страшилищи лицом вышли? Иль лодыри несусветные? Иль неумехи, перекреститься по хозяйству не могут? Неужто такая безысходность? Вон соседи в армии, даст Бог вернуться, и всё у них наладится.

А то в примачи один пытался пристать. С Борков. Мол, со старшим братом не смог поделить родительское наследие, вот и вынужден прибиваться в примы. Часто по вечерам навевался, надоел прямо. Тоже от ворот поворот получил, и снова не без помощи Прокопа Силантьевича.

– Там, мил человек, тебе родителями нажитого не досталось, так ты позарился на девиц? А сам заработать не пробовал? Аль руки не из того места растут? Аль головка не к тому месту прикручена? Изыди, антихрист, пока я тебя батожком не оженил!

А всего сильней боялись сёстры разлуки. Кто-то из них выйдет замуж, а что делать вторая будет? Одна? Как она жить будет? Вот то-то и оно! Если уж замуж выходить Бог сподобит, так только вместе, разом. А коль уж нет, то на нет и суда нет. Обе останутся в девках, в вековухах доживать жизнь свою будут, только друг дружку в беде, в одиночестве не оставят.

Часто длинными зимними вечерами сёстры и так и этак представляли своё будущее, и всякий раз оно было связано с Ефимом и Данилкой. Может, потому что парни перед войной оберегали их, заступались перед деревенскими, в обиду не давали? Были всё время перед глазами, как братья родные. И, может, потому они ближе, роднее. С детства, как себя помнят, ребята рядом были, плохого слова в их адрес не сказали. Других не ведали, старались не общаться ни с кем, всё одни да всё сами.

А тут, слава Богу, вернулись живыми и здоровыми. Признались друг дружке, что всё ж таки Фимка им больше глянется. Правда, и Данилка парень хоть куда, но вот почему-то душа больше лежит к Ефимке. Кажется он им более надёжным, более самостоятельным, более рассудительным. А Данилка? Что-то есть у него такое простецкое, легкомысленное. Всё бы ему шутки шутить, а не о серьёзном говорить. Но и положиться на него можно смело. Парень – кремень! Сказал – сделал!

Когда первый раз увидели их в солдатской форме, так и зарделись, засмутились, сердечки заёкали, затрепетали. Поняли, душой поняли, сердцем девичьим поняли, что не зря о них думали, ждали, в мыслях были вместе. А вот теперь, сегодня должно всё решиться, определиться. Потому и волнение. Не каждый же день такие серьёзные дела делаются.

– Марфа, сестричка, идут! – Глаша забегала по избе, не знала, за что взяться, что делать. – Ой, боженьки, идут, иду-у-ут.

– Может, на улку, там встретить? – старшая не меньше младшей волновалась. – Хотя ладно, садись на скамейку, сидим. Всё ли правильно у нас, а, сестричка? – с волнением в очередной раз окинула взглядом хату.

– Ты только не волнуйся, Марфушка, не волнуйся. Всё хорошо у нас, всё хорошо.

– А я и не волнуюсь. Это ты волнуешься.

– Ой, что сейчас будет? – Глафира зажала рот ладошкой, с волнением уставилась на входную дверь.

Вот парни мелькнули в окне, в сенях послышались их шаги, голоса.

– Господи, спаси и помилуй, – успели перекреститься, прежде чем дверь открылась и на пороге появился Данила.

За ним, будто стесняясь, вошёл Ефим, снял шапку, поздоровался первым.

– Ну, здравствуйте, соседочки наши ненаглядные, – и протянул руку сначала Марфе, а потом и Глашке.

– А я вас обниму да поцелую, – Данила сгрёб Глашку, но та увернулась, и поцелуй пришёлся в щёку.

– А сейчас дайте мою Марфушку, золотце моё, иди ко мне, – обнял девушку, поцеловал в губы. – Вот об этом дне я всё время и мечтал, – и довольный сразу сел за стол.

– Проходите, проходите, гостюшки дорогие, – Марфа принялась приглашать парней за стол, хотя Данила уже сидел там. – Проходи, проходи, Ефимушка, садись вот сюда.

Парни сели, девушки принялись бегать за ширму и обратно к столу.

– Не обессудьте, чем богаты, тем и рады, гости дорогие, – Марфа никак не могла отойти от поцелуя Данилы, смущалась. – Вот, угощайтесь, чем Бог послал.

– Спасибо ему: есть что съесть.

Наконец, первая суматоха прошла, все расселись за столом, налили по чаркам наливочку, чокнулись, выпили за встречу.

– Вот и ладненько, – Ефим с аппетитом принялся закусывать.

– Вы ешьте, ешьте, – девушки пододвигали парням чашки, строго следили, чтобы на столе хватала закуски.

– Зря вы так, девчонки, – Данила с полным ртом стал успокаивать хозяек. – Если честно, то мы с Фимкой уже с неделю хорошо не ели. Всё прихапками, и что под руку попадёт. Так что вы зря нас заставляете, тут просить нас не надо.

– Ага, – Ефим разлил вновь наливку. – Давайте за вас, хозяйюшки и соседушки вы наши дорогие. За то, что дождались нас, за родителями нашими ухаживали, доглядели их, по-человечески, по-христиански проводили на тот свет. Им – царствие небесное, а вам, девчата, огромное солдатское спасибо, и дай Бог здоровья и счастья.

– За вас, красивых и самых лучших, – поддержал Данила и добавил: – За тебя, Марфушка, золотце моё. И за тебя, Глашенька, дай вам Бог здоровья.

– И за вас, Ефим Егорович, и за вас, Данила Никитич. Слава Богу, вернулись живыми и здоровыми. С возвращеньцем вас!

Сёстры не пили, только пригубили да отставили чарки, подперев голову руками, с умилением наблюдали за гостями.

– Какие вы стали, – Ефим отодвинул чашку, прижался спиной к стенке, с любопытством уставился на девчонок. – Уходили, дети детьми были. А сейчас, смотри, Данилка, какие красавицы перед нами сидят.

– А то! – наклонившись, Данила попытался обнять Марфу, но та резко отстранилась. – Да за такую красоту опять на немецкий штык пойти можно, Фимушка!

– Вот это не надо, – Глаша посмотрела на Ефима, потом перевела взгляд на Данилу. – Вернулись с войны, и слава Богу. Живите рядышком с нами, жертв, Данилушка, нам не надо. Вы нам живые нужны.

– О-о! Ты как будто сватаешь нас, а, Глаша?

– Ну, зачем же? – Марфа поддержала сестру. – Вы нам и так не чужие. Вот будете рядом с нами, а нам большего счастья и не надо.

– Нам и так к вам в нахлебники набиваться, – Данила достал кисет, принялся, было, крутить самокрутку. – Или в примачи. Зима на пороге, а нам работа не светит в ближайшее время. Нет работы, нет и хлеба, вот такая жизнь.

– Чего ж так? – спросила Глаша. – А винокурня? А конюшня пана Буглака?

– Да-а с новым управляющим поговорили по душам, – Ефим не стал раскрывать весь разговор с панычом, отделался намёком. – Дорога к пану заказана, вот так-то вот.

– Вы уже успели поговорить с Семёном Казимировичем? – в глазах Марфы мелькнуло удивление, больше похожее на испуг. – И что вам этот чёрт плюгавый сказал?

От Ефима не ускользнуло выражение лица девушки.

– А ты чего испугалась-то, а, Марфа?

– Он прохода нам не даёт, – на помощь сестре пришла Глаша. – Как не стало управляющего Функа Рудольфа Францевича, так этот появился, и норовит к нам пристать.

– Прямо напасть на нашу семью эти Буглаки, – Марфа всхлипнула, приложила кончик платка к глазам. – То мамку с папкой, то до нас уже добрались, сволочи окаянные.

– Ага, прохода не даёт. Уже боязно одной в лес выйти: вдруг чёрта этого плюгавого повстречаешь? – Глафира расплакалась вслед за сестрой. – А заступиться за нас некому. Он знает, вот и пристаёт.

В избе наступила тишина, только слышно было, как всхлипывают девушки да шмыгают по-детски носами.

Парни сидели, наклонив головы. Данила крутил в руках незажжённую папиросу, Ефим мямл шапку. Через открытую форточку доносилось чирикание воробьёв, не ко времени пропел петух.

– Слышишь, Данилка? Пойдём-ка выйдем, – дернув за рукав друга, Ефим поднялся из-за стола. – Вы нас, девчата, извините, мы сейчас.

Вышли во двор, Данила сел на чурбачок, на котором колют дрова, принялся прикуривать. Ефим остался стоять, крутил головой, осматривал постройки, чистый, ухоженный двор, покосившийся плетень своего огорода.

– Молодцы девчонки, честное слово, молодцы! – восхищённо произнес Гринь. – Одни, без мужской руки, а как содержат всё. Молодцы!

– И без тебя знаю, что хорошие девчата, что и говорить. Так чего ты сказать хотел, Фима?

– Помнишь наш разговор, когда на дрезине ехали? Может, давай предложим соседкам замуж выйти? Чего тянуть? Мы же не бирюки.

– Как это? Без сватов?

– А что? Не сваты жениться собираются, а мы.

– Гм, надо подумать.

– А что тут думать? Всё равно жениться пора, а тут такой случай. Вот сейчас зайдём и предложим девчатам. Я – Глашке, а ты – Марфе.

– А свадьба?

– Да какая свадьба! Тут работы нет, не знаешь, как зиму встречать, мы и так как в примаки пристаём. И в кармане вошь от безденежья повесилась, а ты – свадьба! Неужто расходы на девчонок возложим?

– Ох, Ефим Егорыч! Боязно как-то. Да и неудобно вот так, сразу, в первый день.

– Ничего, Данила Никитич, на этом мир держится. И тянуть не след.

– Ну, чему быть, того не миновать! Пошли! Только я чуток наливочки ещё выпью. Для смелости.

– Не похоже на тебя, чтобы ты дрейфил, Данилка. Вон как с панычком-то...

– Э-э, там другое. Это тебе не на штык немецкий идти, а к девчатам, понимать должен. Тут коленки подрагивают.

– Верно ты говоришь. Там привычней. Но надо идти, пошли.

Девушки всё это время неотступно глядели в окно, пытались понять, о чём так разговаривают парни. Уж точно не о видах на урожай, а скорее о них, о сёстрах речь ведут.

Глаша вцепилась в плечо Марфе, не могла унять вдруг пробивший её озноб. Старшая сестра от волнения побледнела вся. Ждали.

– Только как Бог даст, так и будет, Марфушка. Парням решать, а мы смиремся и обидок друг дружке казать не будем, хорошо? – с дрожью в голосе промолвила Глаша, не сводя глаз с парней.

– Только бы Господь надоумил их, Глашенька, а я на всё согласная. Жить-то рядышком будем, как же ругаться да злиться на сестру родную? Одной семьёю будем, Глашенька. Обговорено не раз между нами, чего ж к старому возвращаться.

– А вдруг не станут парни про нас думку думать? Что тогда, Марфушка?

– Как Бог даст. Вон, возвращаются уже. Господи! Спаси и сохрани, помоги Господи! Пресвятая Дева Мария, заступница наша, помоги!

За стол сели на прежние места, молчали.

– Вот что, девчата, – Ефим поднял голову, взглянул пристально сначала на старшую Марфу, потом перевёл взгляд на Глафиру. – Дело такое. Я скажу, а вам решать: как скажете, так тому и быть, но думка у нас такая, вот послушайте.

Данила в это время взял кувшин, наполнил наливкой чарку, молча один выпил и только после этого обвёл сидящих за столом пытливым взглядом, остановился на говорившем друге.

– Вернулись мы в пустые избы, родители нас не дождались, царствие им небесное, – продолжил Ефим, перекрестившись в угол на икону. – А жить-то надо, есть-пить надо, а нечего.

– Ну, чего ж вы так, Ефим Егорович? – Марфа перебила соседа. – Дядька Никита ещё успел и озимую рожь в прошлом году посеять, и пшеничку по весне, картошку тоже. Чего ж Бога гневить? Мы с Глашей и рожь, и пшеницу сжали, в овине Кольцовых в снопах лежат, обмолотить осталось. Вот в предзимье и обмолотим. А картошечка ещё в поле, успеем и с ней управиться, правда? – обратилась уже ко всем за столом.

– Правильно говорит Марфа, – поддержала её сестра. – Чего ж так грустно вы говорите, Ефим Егорович? Неужто мы не поделимся друг с дружкой? Чай, не чужие, а соседи. Хороший сосед лучше брата родного.

– Правда? А я до овина так и не дошёл, – Данила заёрзал на скамейке, похлопал Гриня по плечу. – Не всё так и плохо, если так, Фимка! Молодцы у нас соседки, ой, молодцы! Что бы мы без вас делали? Давайте вот сейчас пойдём в Слободу в церковь к отцу Василию, да и обвенчаемся, а, девчата?

Ефим вначале опешил, не ожидал такой прыти от Данилки, потом всё же взял себя в руки, продолжил.

– И правда, пошли, девчата. Я, к примеру, хочу, чтобы ты, Глашенька, моею женой стала, вот, – произнёс почти на одном дыхании, и замер в ожидании ответа.

– А я тебе в ноги кланяюсь, Марфушка: не откажи, будь моею, – сказал Данила и тоже застыл, опустив голову.

– Как это? – почти в один голос промолвили сёстры, зардевшись, хотя этих слов ждали не один день, вымаливали у Господа такие предложения именно от этих женихов. – Не людски как-то, Господи.

– Вот так, сразу? – Глаша зажала рот ладошкой, подскочила за столом. – И без ухаживания, без сватов? Ой, Господи, что ж это, как это?

– Я не понял, Глафира Назаровна, вы против? – Ефим тоже поднялся, взял девушку за руку, повернул к себе. – Или я что-то не то сказал?

– Ой, что вы, Ефим Егорович! Всё то, всё то вы сказали. Это я так, от радости, – и убежала за ширму, упала на кровать, уткнулась счастливым, мокрым от слёз лицом в подушку.

– Ну, а вы, Марфа Назаровна, что скажете? – Данила шагнул к девушке, встал рядом.

– А я что? – Марфа посмотрела сначала на Ефима, потом на Данилу. – Я как все, – и тоже расплакалась, не зная, куда себя деть.

Данила обнял её, прижал к груди, поглаживая девушку по спине.

– Я ж о тебе даже там, на фронте, думал, вспоминал, а ты говоришь – сваты, не ухаживали. Эх вы, девчата, девчата! Куда же мы друг без друга?

Марфа кинулась за ширму к сестре.

А за столом Ефим и Данила выпили ещё по чарке наливки и, не стовариваясь, опять вышли во двор. Туда же через несколько минут пришли и сёстры. И уже во дворе порешали всё, приняли окончательные решения.

Прежде чем идти в церковь, не стовариваясь, дружно собрались, пошли на кладбище. Родителей живыми не застали, благословление их не получили, но поклониться могилкам надо,

душа тянет в таких случаях на погост, туда, где лежат, нашли последний приют самые дорогие и близкие люди. Пусть с того света посмотрят, порадуются за детей своих, что уже стали взрослыми, принимают такие ответственные решения в своей жизни, как женитьба да замужество.

В Слободу идти решили не по дороге, а по тропинке вдоль речки Деснянки. Так было ближе. Хотя вдоль реки не так часто встретить людей можно, объясняться с каждым потом придётся, это главным было в выборе маршрута.

Сомневались, будет ли отец Василий венчать вот так, без предварительного договора? Но всех успокоил Данила.

– А куда он денется: припрём к стенке с Фимкой, он для нас ещё и спляшет.

– Ну-ну, – высказала опасения Глаша, однако перечить не стала.

Настоятеля церкви в Слободу отца Василия в округе знали очень хорошо.

Списанный по ранению с воинской службы, участник русско-японской кампании, где он был полковым священником, батюшка в возрасте чуть старше сорока пользовался непрекаемым авторитетом в окрестных деревнях.

Высокий, крепкий, по-мужски красивый, настолько естественно сочетал в себе черты священнослужителя и светского человека, что любая компания считала за честь присутствие у себя отца Василия. Зачастую в церковь на службу люди спешили не столько помолиться, сколько пообщаться с настоятелем, послушать его искромётные, не лишённые блеска проповеди.

В то же время на светских вечеринках и застольях не было более эрудированного, компанейского, «своего в доску» весельчака и балагура. Но! Никто и никогда не видел отца Василия пьяным, хотя на спор мог мелкими глотками выпить чистого спирта целый гранёный стакан! И не поморщиться! И не закусывать!

О нём ходили легенды, и зачастую эти истории были правдой, только чуть-чуть искажённой людской любовью и молвой.

Одна из них гласила, что если мужики каких-нибудь ближайших деревень шли стенка на стенку, то их жёны бежали не в околоток, не к пану Буглаку, а прямым ходом направлялись в церковь к отцу Василию. Не раздумывая, в чём был падал батюшка на коня и становился между враждующими сторонами.

Если успевал до драки, то по одному ему ведомым признакам отыскивал в толпе заводил с той и другой стороны, хватал их за шиворот и буквально на глазах у всех сталкивал лбами. Притом так трескал, что у тех пропадало всякое желание драться, а остальные спешили разойтись от греха подальше.

Но если не успевал к началу и драка уже шла, то бесстрашно врвался в разъярённую, дерущуюся и орущую толпу, оглоблей или другим подручным средством, а то и кулаком с зажатым в нём крестом как кистенем разгонял по разные стороны врагов, не разбирая правых и виноватых. Бывало, так входил в раж, что требовались невероятные усилия усмирить уже самого отца Василия. Тогда на помощь сельчанам приходила матушка Евфросиния.

Маленькая, худенькая, прямая противоположность мужу, только она имела над ним неограниченную власть. Ей он подчинялся беспрекословно. Находила его в дерущейся толпе, смело подходила, трогала за рукав и тихим голосом предлагала:

– Всё, батюшка родной, справедливость восторжествовала. Идём домой, – поворачивалась и молча уходила, не оглядываясь.

Удивительно, но этот здоровый, крепкий мужик, бесстрашно бросавшийся в разъярённую толпу, безропотно шёл за женой, мгновенно превращаясь в тихого, послушного семьянина. Для буйных нравом и незнающих удержу в драках прихожан это всегда оставалось тайной: как и почему именно вот так она усмирляла мужа, а он подчинялся ей? Такой маленькой, слабенькой на вид женщине уступал такой огромный силач?! Чтобы баба да брала верх над мужиком? Это не укладывалось в голову.

Но вот за это и любили батюшку в округе, боготворили за силу, мужество, благородство, справедливость, честность, умение быть равным и статскому советнику, и юродивому Емеле, что жил с матерью рядом с церковью. Со всеми находил общий язык, и никто и никогда не чувствовали себя униженным и оскорблённым отцом Василием.

И матушка Евфросиния была для округи образцом женщины, женщины-матери, женщины-жены, супруги, имеющей необъяснимую, но реальную власть над всеми уважаемым отцом Василием. Над человеком, который имел такую же силу над окрестными мужиками. Выходило, что матушка Евфросиния была сильнее мужа своего. Только за одно это женщины готовы были носить её на руках.

Но безропотное, удивительное и непривычное для местных нравов подчинение отца Василия своей жене не только не принижало его в глазах прихожан, а напротив, поднимало на ещё большую высоту, недостижимую простому смертному. К нему шли на исповедь, за советом, а то и просто поговорить. И для всех он находил время и именно те слова, которых ждали от него ходоки.

А тут вдруг Данила решил заставить отца Василия плясать для них? Диво, да и только! Хорошо бы согласился, и то слава Богу!

Тропинка петляла среди вётел, сосен, что подбежали к самой реке, остановились, любуются открывшимися вдруг перед ними далями на том, низком берегу.

А вот и омут, то место, где когда-то родители девушек не смогли устоять перед житейскими трудностями, перед жестокими реалиями жизни. Вода здесь тёмная, почти чёрная, то тут, то там образуются из ниоткуда воронки, бурлят, устрашающе притягивают к себе путника.

Некоторые жители Вишенок старались пробежать это место не задерживаясь, иные отводили глаза в сторону, чтобы не поддасться пугающей притягательности страшного омута. А он на самом деле манил к себе, звал, зачаровывал жутким колдовством своих бурлящих воронок, ещё и ещё раз подтверждая и без того страшную силу нечистого места.

Только деревенский рыбак Мишка Янков не верил в нечистую силу, смело ставил мордушки, сети, таскал со дна омута пудовых сомов. Он же и обнаружил утопленников – мужа и жену Назара и Прасковью Домниных, родителей Глафиры и Марфы.

И сегодня он сидел в лодке на краю омута у берега, дымил самокруткой, неотрывно уставившись в неподвижные поплавки. Заслышав людские голоса, повернул бородатое лицо, прищурившись, старался рассмотреть из-под ладошки путников.

– До отца Василия? – вместо приветствия вдруг спросил Мишка. – Венчаться?

– Здорово, леший! – Данила даже подпрыгнул от такой пронизательности рыбака. – Вроде с тобой не делились новостями, а поди ж ты...

Девчата, прижавшись друг к дружке, постарались быстренько пробежать мимо, а парни остановились перекинуться парой слов с нелюдимым молчуном.

– Ты с чего это решил, что венчаться? – воскликнул Ефим. – Хотя твоя правда: до отца Василия мы.

– Обратной этой дорогой? – и, не дождавшись ответа, продолжил: – Я хорошего сома на отмели за кустом положу. Если меня вдруг к тому времени не будет, сами заберёте. Это от меня к вашему столу. На жарёху. А можно и ушицу.

И снова уставился на поплавки, совершенно забыл о разговоре.

Парни переглянулись, недоумённо пожали плечами, двинулись вслед девчатам.

– Вот и пойми этого молчуна, – не сдержался Данила. – Как будто ему на ухо нашептали о нас или с нами за одним столом сидел.

– Да-а! А вообще-то мужик неплохой.

– Ничего худого никому не делал, это факт, – поддержал Гриня Кольцов.

К Слободе подошли уже во второй половине дня.

Церковь расположилась на перекрестке дорог и хорошо была видна на подходе из всех окрестных сёл, её чистый колокольный звон одинаково долетал до самых отдалённых деревень прихода.

Отца Василия застали в огороде, где он подкапывал картошку, а матушка Евфросиния выбирала вместе с младшей дочерью Лизой.

– Ох, как не во время, – воткнув лопату в землю, батюшка подошёл к гостям. – Что привело вас? Хотя и так ясно. У вас что, другого времени не было? Ох, эти женихи да невесты! Что, уж замуж невтерпёж? – лукавая улыбка озарила лицо священника. – Хотел, было, заставить вас выкопать картошки с пол-огорода, но потом передумал. Так и быть: ждите, я скоро освобожусь.

Такое игривое, весёлое настроение тут же передалось молодым. У девушек как будто гора с плеч свалилась. Всю дорогу они не до конца верили, сомневались, что батюшка вот так сразу согласится венчать. Да и само предложение парней казалось сном, в это с трудом верилось даже здесь, на пороге церкви.

Всю дорогу от Вишенки до Слободы девушки боялись говорить о свалившемся вдруг на них счастье. Боялись сглазить, вот потому-то и пошли вдоль реки, чтобы поменьше людей видело и знало о таком событии в их жизни. До последнего мгновения боялись: вдруг что-то помешает, парни передумают, скажут, что они пошутили. Такой позор сёстры вряд ли бы пережили, они понимали это, потому и боялись. Всё казалось, что вот сейчас проснутся и это кончится: не станет Ефима и Данилы, и отца Василия, и церкви, они опять одни в своей избе. Но слава Богу!

Конечно, не о такой свадьбе мечтали: кони с лентами в гривах, колокольчики под дугой, столы ломаются. Но понимали и другое: и девушки, и парни сироты. Как бы ни мечталось, но они си-ро-ты! Этим всё сказано.

А Данила с Ефимом не нашли в родительских сундуках гражданской одежды, чтобы переодеться, скинуть солдатское обмундирование, так и пришли в нём. То, в чём они ходили до армии, оказалось маленьким, коротким, годным разве что подросткам, а не мужикам.

Понимал это и отец Василий. И по внешнему виду молодых, особенно парней в солдатской форме, и по их робким словам он видел, что привело эти две пары под венец. Но словом не обмолвился в укор, и молодые были безумно благодарны ему за это.

Прижавшись друг к другу, с замиранием сердца ожидали венчания. Но доброжелательное, по-отечески ласковое отношение священника к молодым вселило в их души оптимизм, твёрдую уверенность, что всё у них получится, будет не хуже, чем у людей. Сёстры заулыбались, приободрились, куда девались те страхи, что мнили себе всю дорогу. Да и парни повеселели. Данила так вообще ходил гоголем.

– А я что говорил, а вы боялись?

– Не говори гоп, – осадил его товарищ. – Мы даже не подумали, чем отблагодарить батюшку, а ты...

– Ой, и правда, – спохватились сёстры. – Там, дома, у нас и денежек немного есть, надо было взять, а мы и не догадались. Вот стыдно-то как!

Но, к счастью, батюшка почему-то даже не заикнулся об этом, но всё равно на душе было как-то нехорошо, тягостно. Уже в последний момент перед тем, как зайти в церковь, отец Василий спросил:

– Колец, конечно, нет. Но хотя бы подножие взяли?

– Так, это, – девушки растерянно пожали плечами. – Мы, это...

– Понятно, – подозвал матушку и что-то шепнул ей на ухо. – Так спешили под венец, что всё позабыли. Эх, молодо-зелено!

Матушка тут же убежала и вскоре вернулась с выбеленным домотканым широким полотенцем, сунула в руки Марфы.

– Возьми, дева, как раз согдится на подножие.

Решили, что первым венчаться Ефиму с Глафирой.

Пока стояли в притворе, с волнением наблюдали за действиями священника. Вот, наконец, тот епитрахилью соединил руки молодых, благословил с зажжёнными свечами.

– Отныне служите Богу и друг другу, – совершал обряд батюшка.

Данила с Марфой стояли позади, от нетерпения парень уже начал пританцовывать. Это не осталось незамеченным отцом Василием. Несколько раз тот выразительно посмотрел в сторону Данилы, продолжая обряд.

Вот уже молодые встали на подножие у аналая, а Данила с Марфой застыли с венцами над головами жениха и невесты.

– Отныне двое должны стать одним целым, одной пло-о-тию-у-у, – вёл отец Василий.

Руки у Данилы занемели, несколько раз он менял их, дальше терпеть не мог и вдруг обратился к батюшке:

– А нельзя ли, отец родной, повеселее? Руки устали, да и наливочка наружу просится, а ты тут развёл своё кадило.

Священник от неожиданности даже поперхнулся, но тут же взял себя в руки.

– Терпи, сын мой, – и продолжил читать «Отче наш».

Марфа уже несколько раз одёргивала Данилу, но того вдруг понесло. То ли выпитая наливка ударила в голову, то ли благодушный вид батюшки сбил его с толку, но парень не остановился.

– Мог бы и сократить, – с вызовом произнес Данила. – Кто её слушает, твою молитву? Кому она нужна?

– А вот за это я тебе, неразумное дитя моё, могу и по башке съездить, – батюшка вплотную приблизился к парню, смерил того взглядом. – Помни, где находишься!

– Ох, напугал! Да я на штык немца в рукопашной нанизывал, не боялся, а тебя и подавно!

– А вот это видел? – перед носом Данилы замаячил огромный волосатый кулак священника. – Ты штыком, а я япешек косорылых вот этим кулаком на тот свет отправлял без причастия, понял, овца заблудшая? Они были с винтовками, а я вот этим снарядом!

Парень отпрянул назад, глядя на кулак батюшки, и тут до него дошло, что на самом деле с таким кулаком штык не нужен!

– Молчу, молчу!

– Вот так-то лучше. Стой, не буйнь, Аника-воин нашёлся, – отец Василий продолжил читать молитву.

Дальше всё прошло гладко, без сбоев. После Глашки и Фимы обвенчались Данила с Марфой.

А вокруг церкви в это время выплясывал юродивый Емеля. Ему очень уж нравились свадьбы: шумные, пышные, со множеством гостей, с тройками и бубенцами, щедрыми сватовьями, что одаривали его, Емелю, разными сладостями, а то могли и денежку даже кинуть. Но он ничуть не удивился этому тихому, безлюдному венчанию, что вот сейчас вершилось в церкви отцом Василием.

Он плясал за недостающих гостей, выкидывая кренделя обутыми в лапти ногами, пытался пойти в присядку, но тут же падал, не удержавшись, и заходился хохотом. Его переполняло ощущение благодати, что исходило из церкви, он радовался жизни, солнцу, очередному осеннему дню.

Глава четвёртая

Дуло, вьюжило сильно. Да и мороз уже должен был хоть маленько умерить свой пыл, ан нет, всё так же давил, как и месяц назад на Крещение. Сугробы поднимались во дворе почти выше соломенной крыши: сил уже не хватало выбрасывать снег со двора. Только-только очистит Ефим двор, как на следующий день снова гора снега лежит.

Плюнул на него, стал делать узкие дорожки от двери дома до сарая, до улицы, чтобы за водой сходить. Да и к стожку сена ещё пробиваться надо было.

Скотина света белого, солнца почти всю зиму не видела. А не мешало бы и ей постоять на солнышке, погреться. Тоже небось надоела эта зима. Зато и сена ест как не в себя: греться-то надо. И в сараях закуржавело всё от инея.

И что интересно, не держал снег. Стоит ступить ногой на перемёт, как тут же провалишься почти до самой земли.

Такой зимы, чтобы вот так и морозы и метели одновременно, не помнит даже сосед Ефима Гриня дед Прокоп Волчков. Сегодня он всё ж таки смог выйти из своей избы, откопаться, и сейчас сидел у Ефима напротив печки, мусолил во рту которую по счёту самокрутку.

– Я что говорю, паря, – старик то и дело наклонялся, стараясь пускать дым в топку, в поддувало. – Три дня тому до меня приходил Кондрат-примак. К тебе не заглядывал часом?

– Нет, я давно его не видел, – Ефим сидел рядом, подшивал валенки Глаше. – Что ему надо? Чего хотел?

– Э-э, кто ж так подшивает? Дратву сучил? Отвалится, как пить дать, отвалится подмётка или исшаркается в первый же день. Кто ж тебя так учил подшивать? Не отсохла тому голова.

– Да сучил я, сучил. С чего ты взял, дедунь?

– Знать, не заметил. Ты шей, шей, на меня не гляди. Не отвлекайся. Так о чём это мы? А, да. Примак пришёл, паря. Мы с бабкой только поели, чай хлебать стали, а тут и он, холера его бери. И сразу к нам в красный кут за стол, ноги хоть бы отряхнул на порожке, рожа жирная. Так и по хате прошлёпал с грязными ногами.

– Снег, чай, не грязь, вода – затёр, и вся беда.

– Тебе лишь бы сказать: вода-а! А бабке протереть за ним надоть, согнуться. Ты об этом подумал, паря? А говоришь. У ней спина гнётся теперь с горем пополам два раза в год, и то перед отцом Василием: на Пасху на всенощной да на Троицу. И всё, отогнулась моя старушечка. Видал, грядки ползком на коленках правит. Я уж молюсь, чтобы зиму перезимовала, а этот со снегом в избу. Неужто лень голиком ноги обстучать? Нет уважения у человека, к попу не ходи, негу. Если родители ума не дали, этому не научили, всё, пропащий человек.

– Ладно, дедунь. Не обижайся, чего с него взять? Примак. Так чего он приходил-то?

– Что ты меня торопишь, Фимка? Я, может, зиму ни с кем не говорил, рот от молчанки склеился, язык заржавел, пришёл к тебе послушать умные речи, самому поговорить, рот развязать, а ты как тот примак. Тьфу, Господи! Слова сказать не даёт. Дома старуха жужжит, как слепень, даже если захочешь слово молвить, не получится, не вставишь. К соседу пришёл – и он туда же.

– Ну-ну, дедунь, не обижайся. Глаша, – позвал хозяин жену. И опять гостю: – Чай пить будешь, дедушка Прокоп?

– С сахаром? Ну, если просите, то давай, пошвыркаю, куда от вас деться. От же, настырные! Вы ж мёртвого можете уговорить сплясать «Барыню», холера вас бери. А если шанежку размочить в кипятке, зубы-то годочков пятнадцать тому в ремонт отдал, до сих пор не починят никак, а шанежку размоченную да с чаем, то благодать Господня, а не гости. Глашка? Ты слышишь, Глашка? А шанежки твои свежие, ай как?

– Утром пекла, дедушка, – хозяйка ставила самовар, выставляла на стол чашки, блю-дечки, достала головку сахара, принялась колоть.

– Ну, если так, то я неплохо зашёл в гости, хорошо-о подгадал. Будет чего старухе рас-сказать.

Глаша отложила в сторону вязание, занялась гостем.

Дедушка бросил окурочек в печку, повернулся к хозяйке, причесал ладонью остатки волос на голове, пригладил бороду.

Ефим прибрал валенки, дратву, шило, вымыл руки под рукомойником, тоже присел за столом.

– Мамка твоя Прасковья, покойница, царствие ей небесное, ох уж и наливочку делала! Мастери-и-и-ца! Бывало, Назар угостит по-соседски, тайком, чтоб бабы не видели, от них же всё горе, так это хорошо-о-о шибает, – дед Прокоп испытывающе уставился на Глашу. – Ты небось от мамки переняла умение наливочку ставить? Или, может, до сестры твоей мне идти надо было? До Марфы? Там Данила компанейский человек, не чета некоторым, – и кинул быстрый плутоватый взгляд на Ефима.

Хозяйка переглянулась с мужем, молча вышла в переднюю избу, слезила в подпол, достала литровую бутылку вишневой наливки, протёрла фартуком. Выставила на стол.

– Ну, вот и ладненько, – потирал гость руки. – А я-то, грешным делом, думал, всухом-мятку чай швыркать будем? Ан нет! До Данилки вострить валенки, было, собрался. Но, слава Богу, тут посижу. Уважили старика, уважили. Это ж как упираются, чтобы меня, соседа своего, ублажить. Так и надо, не абы кто пришёл, тут понятие должно быть. Это ж не примак, кила ему в бок.

– Так что ж ты мне, дедунь, про Кондрата—примака сказать хотел? – Ефим уже выпил свой чай, сидел за столом, следил, чтобы у гостя посуда не пустовала, периодически подливал то чай, то наливку.

Разомлевший и разопревший от выпитого дед Прокоп вытирал мокрую от пота лысину домотканым рушником, что дала хозяйка, и не склонен был до серьёзных разговоров.

– Хороший ты мужик, Фимка, и жёнка твоя тебе подстать, – недовольно молвил гость, – а говоришь такие глупости.

– Это с чего? – удивился Ефим.

– Выпытываешь у меня все секреты, чтобы я быстрее тебе их раскрыл и умывался домой. Так? – и, не дождавшись ответа, продолжил: – А наливочку кто выпивать должен? Это ж для меня ставлена? Вот то-то и оно, паря! То наливочку поставил, а меня, гостя дорогого, гонит из хаты. И гдей это видано?

– Ладно, Прокоп Силантьевич, можешь и не говорить. Никто тебя не гонит, сиди, гостюй. Завтра пройду по деревне, без тебя узнаю.

– А вот это зря! – поднял кверху обкуренный палец гость. – Беседу с Кондратом только я знаю. Кто ж тебе об ней скажет, кроме меня? Шалишь, паря! Разве что моя хозяйка. И то вряд ли. Глуховатая она что-то в последнее время. Особенно, если после баньки ты начина-ешь чесать руки, тяжело вздыхать, намекать на кружку бражки или с напёрсток наливочки, у ней слух и зрение сразу же пропадают: не видит и не слышит. Зато появляется такая вред-ность, что не дай тебе Господи! Слышь, Фимка, ты не знаешь, откедова такие вредные бабы берутся? Твоя не такая? Вроде девками такие хорошие были, слова поперёк не скажут, а жён-ками стали – совсем озверели. Гдей-то видано: мужа родного, единственного скалкой по спине, а? Про тряпку я уже не говорю: почитай, каждый день может отшлёпать меня как ребятёнка глупого. Это уже как ласка, тряпка-то. Тебе не так? – и сам себе ответил: – Не так. Рано ещё, больно молодые. Дай время, и тебе достанется скалкой, а то и кочерыжкой. Вот ей-то больнее всего. Знаешь, после кочерги как в душу нагадил кто-то, так противно и больно, вот так-то, паря.

Хозяин молчал, уставившись в заледенелое окно. Глаша уже гремела в печи ухватами, доставала корм животине, готовилась управляться по хозяйству. Два больших ведёрных чугуна с варёной картошкой для скотины стояли на припечке, ждали своей очереди. В бадейке приготовлено было пойло для коровы.

А гость не собирался уходить. Выгнать? Нельзя. Но и вот так сидеть, ждать, пока захмелевший сосед сам догадается идти домой, сил не было. В то же время уж больно хотелось узнать, чего это грамотей рыскает по деревне? Тревожно что-то стало в Вишенках. В последнее время столько новостей, что они не успевают укладываться в голове.

Из уезда гонец неделю назад верхом прибежал, что-то со старостой деревни Николаем Павловичем Логиновым долго беседовали. Ускакал уже почти в ночь. Интересно, о чём речь шла? Этот писарь что-то знает, если рыскать по деревне принялся. Не зря, выгоду какую-то почувствовал, вот и не побоялся метели с морозами, пошёл по деревне обход делать. Этот с лепёшки коровьей пользу извлечёт, не подавится, не поперхнётся. Вот уж пронырливый человек, жадный. И откуда такие берутся?

Пан ещё по осени затеял высаживать липовые аллеи на большом, не меньше десяти десятин, поле, чтобы каждая из них была в форме очередной буквы его фамилии – Буглак. Блажь, конечно, панская, но если деньги платит исправно, то чего бы и не высаживать? К зиме, ещё до первых морозов в аккурат управились, высадили, как и хотел старый пан. Говорил, что это на память об их семье. Ефим с Данилой успели поработать на посадках, даже расчёт получили.

Потом вдруг слух прошёл, что земли у пана выкупил бывший приказчик без вести пропавшего ещё в четырнадцатом году купца Востротина – Щербич Макар Егорович из Борков. И винокурню он же прибрал к рукам. Приходил к Гриням, говорил с хозяином, намекал, что, мол, по весне пусть Ефим Егорович приходит, работы хватит на винокурне. Специалисты нужны.

А пан исчез вместе со своим семейством. Ещё с вечера в покоях горели лампы, свечи, а утром – пусто! И в амбарах пусто, и в конюшнях ветер гуляет. Когда только успел вывести всё – одному Богу ведомо. К Рождеству и след панский простыл. Во чудеса!

Мужики из окрестных деревень кинулись в имение, что смогли из-под снега достали, по домам уволокли. Фимка с Данилой плужок хороший ухватили, сбрую ладную – хомут, уздечку, вожжи, тяжки, дугу и седёлку с чересседельником еле дотащили до дома. Седло кожаное, ладное, со стремями из меди так и лежит теперь на чердаке у Кольцовых.

В очередную ходку кинулись, а какой-то идиот уже пустил «красного петуха» – горел ярким пламенем панский дом. Сколько добра сгорело! Тьфу, Господи! Зачем?

Друзья долго ещё рыскали по панскому подворью, искали добро, но увы! Что не растащили, то сгорело! Так, чистиков пару штук нашли, два новых лемеха на плуг, борону мелкую под снегом выковыряли. И всё! Да, ещё бочонок пудовый дёгтя берёзового, и то ладно. С дохлой овцы...

Кто раньше успел, тому и лобогрейки достались, а их у пана было целых четыре штуки! Кому телеги, сани, колеса с ободками железными. Вот это дело! А кто в покои первый кинулся, тот тряпок панских нахватал, посуды. Вон, говорят, Аким Козлов, даром что с укороченной ногой на протезе, и тот таких чарок да рюмок необычных нахватал, что боязно даже дотронуться, не говоря о том, чтобы пить из них. Тронь – звенят не хуже колокола на слободской церкви!

И вообще, что-то такое творится, чему деревенский ум Ефима и Данилы не может дать объяснения, не может понять. Рушится на глазах тот привычный уклад, образ жизни крестьянина, что испокон веков вели их предки.

Как жить дальше? Что делать? За зимой обязательно придёт весна, и надо будет сеять, сажать огороды, возделывать землю, а той привычной стабильности уже нет. Как тут быть? Вот

о чём болит голова у Ефима Гриня, а тут дед Прокоп подлил масла в огонь. Сказал про писаря, затравил новостью и дальше ни слова.

Тот прохиндей точно что-то знает, не будет запросто так по хатам бегать.

– Ладно, дед Прокоп, ты тут посиди, погостуй, а я пройдусь: может, кто поразговорчивей тебя будет, – Ефим вылез из-за стола, взял полушубок, накинул на плечи, собрался, было, направиться к двери.

– Стой, холера тебя бери, торопыга! – подскочил гость. – Слово ему не скажи, сразу в обидки. Садись, всё, как на духу, выложу. Ты мне остатки наливочки плесни: не оставлять же слёзы эти вашей семье.

Выпил, потом ещё долго сидел, закусывал, гоняя по беззубому рту козий сыр, изредка поглядывая исподлобья на хозяина.

– Был сын, надежда нам с бабкой на старость лет, – начал дед Прокоп, в очередной раз вытерев вспотевший лоб. – Сложил голову где-то на какой-то Цусиме, на краю света, когда война с япошками была. Утоп вместе с кораблём, на котором был матросом. Ты же знаешь, Фимка. Бумага ещё приходила из военного ведомства, там всё обговорено было. Да она и сейчас в сундуке бабкином лежит. А что ей станется? Лежит себе да лежит, есть-пить не просит. И как его угораздило, родимого, с речки Деснянки попасть на море-окиян? Он и тут плавать-то научился уже взрослым, а там глубинища-а ещё та! Да, паря, сказывают, волны там с сосну-вековуху. Как тут не утопнуть православному? Ты веришь, что волны такие бывают? Я даже пужаюсь, да верю, а ты? По первости, когда вестка пришла о том, что матрос царского флота Волчков Николай Прокопович утоп в страшном, неравном бою с япошками, я долго ходил среди сосен, плохо было мне тот раз, ой, как плохо, чтобы кто знал. Подойду к сосне, гляну вверх, сравню волну с её высотой и себя, такого маленького, и понимаю, что выжить сынок и его товарищи не могли. Веришь, паря, что не могли? Он, Колька мой, хотя и с меня ростом, нет, выше чуток, а что в сравнении с такой высотой? Правильно, песчинка. А моща какая в той волне?

Хозяин кивнул, согласившись. Глаша тоже присела на край скамейки, сложила руки на груди, приготовилась слушать.

– Ну, а дочки? Девки они и есть девки, – продолжил дед. – Трёх засватали, и укатили они с мужиками кто в Борки, кто в Пустошку, а младшая Татьяна в волости на фабрике пристроилась, шьёт что-то, там же и за городского замуж вышла. Весна не разбирает, девки у тебя или сыны, а мне помочь-то некому. Как без крепких рук мужицких управиться с землицей? Вот такие дела, соседуски дорогие. А зятевья – не сыны, дочки – не помощники, а плакальщики. Зять – чтобы взять, а не дать, не помочь тестю, итить их в коромысло, зятевьёв этих. Как на Троицу были прошлым летом, так пропали, глаз не кажут. А ты, родитель, хоть окочурься, им хоть бы хны. Нет, чтобы проведать, узнать, что и как? Так, нет!

Гость замолчал, уставился в пол, только пальцы нервно барабанили по столу, хозяева не торопили, ждали.

– А тут Кондрат, холера ему в бок! Говорит, что раз царя нет, министров его тоже нету, а, мол, простой народ на царствие пришёл, на трон расейский значит.

– Это он что, сам придумал или как? – подался вперёд Ефим. – Не может того быть, чтобы царя не было. Нет Николашки, другие есть. Не сошёл же свет клином на Николае? Семья Романовых большая, найдут другого, у нас не спросят. Министры же какие-то были, управлять нами пытались. А то – сошёл!

– Вот то-то и оно, что сошёл, – дед поднял голову, обвёл глазами хозяев. – Я тоже не поверил. Говорю, мол, побожись, прибудная твоя душа, что правду говоришь!

– Ну и? – застыли от нетерпения Глаша и Ефим.

– На образа, нехристь, перекрестился, даже на колени упал! Правда! Поверил я!

– Вот тебе раз! – всплеснула руками хозяйка. – А жить-то как без царя-батюшки? Без его министров? Это ж как получается: кто схотел, тот над Россией и будет сейчас за главного? О, Божечка, что ж это делается? Куда ж мы так придём?

Ефим встал, нервно прошёлся по избе взад-вперёд, остановился напротив деда.

– Ты, дедунь, часом наливочки не перебрал, что такие речи говоришь?

– Неужто упрекаешь, паршивец, наливкой-то? Это где видано, чтобы я омманывал? – дед тоже поднялся из-за стола, встал лицом к лицу с хозяином. – Вот уж не думал на старости лет, что меня уличат в оммане! Да ни в жизнь! Мой род не такой! Ты не гляди, что я в гостях да кашляю: хвачу за кудри да об колено твою дурную голову за такие слова. А за что купил, за то и продаю, понятно тебе, Ефим Егорович?

Глаша кинулась к бабушке, усадила снова за стол, сама присела рядом. Ефим тоже опустился на скамейку.

– Ты извиняй, дедунь, – Гринь нервно теребил край скатерти на столе. – Не укладывается в голове, не могу поверить, что к власти пришли такие как мы. А жить-то как? Где власть? Как они управлять нами будут?

– Во-о-от! Тут-то и самое главное, – бабушка успокоился, уселся на своё место, с грустью посмотрел на пустую бутылку. – Примак-то и прибежал, говорил, что будто бы править у нас в Вишенках будет какой-то ко-ми-тет, – по слогам, с трудом произнес старик непривычное слово. – И что его выбирать будут на общем сходе.

– Это ещё что за правитель – ко-ми-тет? – Егор почесал голову. – На фронте так называли сборище солдат-недоумков, которые норовили офицеров расстрелять, приказы командиров не слушать. Неужели и тут так будет?

– Не знаю, как у вас на фронте, а у нас в Вишенках завтра сход будет, – старик собрался уходить, встал, натянул на голову шапку, взял тулуп. – Кондрат больно просил, чтобы его главным избрали. За этим и приходил, сулил полный рай, если его главным в Вишенках поставят. Кричать за него надо, сказывал. Уж он потом отблагодарит, шельма прибудная! Осчастливит, прохиндей! Когда он станет главным, мы работать не будем, а только полёживать на печи, почёсывать бока да плевать в потолок. Так-то вот, паря. А наливочка, Глаша, не хуже, чем у матери твоей Прасковей, царствие ей небесное. Спасибо, уважила старика. Вот только жаль, редко очень приходится пробовать, отвык уже, вкус теряется. Но это уж твоя вина, соседка, что не привечаешь такого доброго человека, как Прокоп Силантьевич Волчков.

И уже на пороге опять обернулся к хозяевам.

– Я, это, чего приходил-то? Совсем голову заморочили своими угощениями. Забыл, чего приходил. Волы-то у вас с Данилкой как, в теле? Не примёрзли часом? На водопой к польньне на реку давно не водили из-за этих морозов-метелей, так я их столько же и не видел.

– Слава Богу, – ответил Ефим.

– Мне подсобите на пахоте, ай нет? Я для корма волам вашим держу пуда три овса, может, придёшь, заберёшь? Подкормить скотину надо. Весна скоро.

– Спасибо, бабушка, приду или Данилке накажу, он заберёт. А с пахотой поможем, куда ж мы денемся? Помогали и будем помогать. Лишь бы с ног на голову нас не поставили разные комитеты. А так почему бы не помочь? Не убудет. Как думаешь, рожь озимая не вымерзнет?

– Не должна. Больно снега много. По весне, боюсь, чтобы не сгнила, не сопредела. Хорошо бы весне ранней, быстрой быть, тогда волноваться не след. Прощевайте, пошёл я. А то вы тут забавили меня, бабка ещё ругаться станет. Да, Глашка, жернова пустуют, свободные. Если что, приходи. Смолоть мучицу не помогу, а жернова свободные. Ты уж сама, сама, девка. Или вон Фимку отправь, пускай покрутит.

Хозяйка ещё успела сунуть в карман тулупа пару шанежек, завёрнутых в чистую тряпицу.

– Это для бабушки Юзефы.

– Добре. Будет рада, что и об ней помнишь, Глафира, дай тебе Бог здоровья. Так говоришь, шанежки свежие? Не оманываешь? – и, не дождавшись ответа, сам же добавил: – Свежие, рази ел ба я чёрствые? Должны быть свежими. Вишь, мягкие, значит, свежие. Бывайте здоровы, соседушки. Пошёл я, пошёл, и не упрашивайте остаться. И так уже задержался у вас, итить его в кошёлку. А к старухе моей, Глаша, заскочи. Больно любит она тебя, скучает. И Фимку возьми, и по нём соскучилась, просила привесть.

Марфа к этому времени ходила на сносях, живот подпирал, на нос лез, к Троице должна была родить, а вот у Глаши с Ефимом что-то не получалось. Однако не унывали: молодые, ещё успеют. Всему своё время, хотя хотелось, чтобы и детки у них с кольцовской семьёй ровесничали. Но как Бог даст, так и будет.

По осени всю работу переделали, в зиму вступили хорошо, слава Богу. И дрова заготовлены: вон, поленицы колотых берёзовых дровишек в дровянике высятся. Смоляки на растопку в сенцах с лета лежат, горят, как порох. И в амбарах сусеки не пустуют, смолотили всё. На мучицу не стали на мельницу возить, как Данила, тот кинул пять пудов да отвёз в Руню на водяную мельницу к Лавру-мельнику, смолот. Оно хотя и дальше, но в Пустошку не повёз, там больно помол грубый. Грини решили, что им на двоих хватит и жерновов деда Прокопа. Мелят жернова хорошо, мелко, ничуть не хуже мельничной муки выходит. И хлеб, и сдоба получаются удачными, чего зря Бога гневить. Картошка, что на семена оставили, в поле в буртах тёплых лежит, соломой да плотным слоем земли прикрытая.

Данила ходил, проверял, говорит, что хорошо хранится, не мёрзнет и не гниёт. Разобрал с одной стороны, руку засунул – сухо, слава Богу.

Несколько раз Ефим с Данилой ходили на охоту, но не густо, так, маленько зайчишек принесли, больше сами устали. Правда, на шапки себе заработали да петли поставили. Пора бы сходить, проверить, так с этими морозами да метелями как из дома выйдешь?

По первому льду выходили на Деснянку, глушили обухом приснувшую прямо подо льдом рыбёшку. Немного взяли, однако какая ни есть, смена в еде. Ещё в пристройке замороженной рыбы добрая половина дубовой бочки. До весны хватит.

А сегодня дед Прокоп разбередил у Ефима тревогу, что не покидала ещё с той поры, как ушли они с Данилкой с фронта. Зародилась эта тревога в казармах и до сих пор сидит, тревожит.

Что-то рушилось, а что и как спасать – не понятно. Голова кругом. До некоторых пор всё было ясно, привычно, как восходы и закаты солнечные, как смена поры года: за весной – лето, потом – осень и зима. Паши, сей, убирай, создавай семью, рожай детей, живи. А тут?

Пан Буглак что-то учуял, раз такое имение по ветру пустил. Не спроста, ой, не спроста! Может, испугался этих самых комитетов? А как на самом деле землю отберут? Но эти комитетчики в казармах говорили, что землю крестьянам отдавать будут. Так её, земельку, никто и не отнимал. Вон, после Столыпина бери землю, хочешь в хутор выделяйся, паши, сей, корми себя, продавай излишки. Было бы желание. Что, в общем-то, и сделали многие мужики в округе, в окрестных деревнях. Земельку взяли, работают, сыты-пьяны, и нос в табаке. Правда, и в работе ломить надо так, чтобы позвонки трещали, однако и жить тогда можно безбедно. А без труда какая жизнь – только зубы на полку положить надо.

Всё уладилось, вошло в привычный крестьянский ритм, а тут вдруг такое... Когда меняется привычное, веками опробованное, тогда и страшно. А вдруг будет хуже? Вот то-то и оно. Боязно.

Тогда, после венчания, собрались вместе две семьи, решили, что на первых порах хватит трёх десятин: у сестёр одна, да и у парней тоже по одной. Если с умом хозяйствовать, то и на продажу будет. А хватать лишнего не стоит, пупок надорвёшь. Потому и не стали просить землицы, не стали расширять наделы. Всю её себе не заберёшь, а заберёшь, так не осилишь. Уметь довольствоваться малым – тоже надо уметь.

Пара рабочих волов на эти десятинки тоже есть. Слава Богу, сытые, здоровые животные, тяговитые. Была соха для пахоты, а тут и плужок настоящий достался от пана Буглака. Всё одно к одному. Хороший знак.

Чтобы не надрываться по уходу, решили, что у каждого в сарае по одному волу в зиму должно стоять. Каждый хозяин за своего в ответе, а по весне объединят волов в одну упряжку. Спасибо общине, не угробили. Хоть и работали на общество, но и смотрели за ними по-хозяйски. Данила взялся ярмо починить, подготовить к пахоте.

В зиму корову завели, пока одну на два дома. Стоит у Кольцовых в хлеву. Стельная, вот-вот, по всем приметам, должна отелиться. Даст Бог, принесёт телёнка. Бычок – хорошо, вол будущий. И телочка тоже ко двору будет. Тогда и Грини обзаведутся коровёнкой. А не то по весне или к следующей зиме купят. Вон в Слободе на ярмарке выбирай, лишь бы деньги были!

Управились быстро, накормили, напоили скотину, затопили на ночь печку, вьюшку чуть-чуть прикрыли, чтобы тепло зазря не вылетало в трубу, решили сходить до Кольцовых: слишком уж новости горячие. Как бы в них не заплутать, не сбиться с пути праведного, не потеряться. Одна голова хорошо, а сообща и батьку бить легче, не то, что думку думать-решать. Да и спешка здесь как никогда помехой будет. Не торопясь, спокойно рассудить надо, чтобы не наломать дров. Это мы можем, с кондачка, с насока любое дело делать, любой вопрос решать. Только потом за голову хватаемся, каемся, ан поздно! Вспять повернуть-то не получится. Так и живём, задним умом крепчаем.

Данила с Марфой садились ужинать, как к ним нагрянули гости.

– Вовремя пришли, сродственники. Давайте к столу, – хозяин вышел навстречу, поздоровался с Ефимом, шутливо поручался с Глашей.

Марфа тут же увела сестру в переднюю хату, пристала с расспросами.

– Ну, как у тебя, Глашка? Не понесла ещё, не забрюхатела?

– Да отцепись от меня, смола. Неделю назад спрашивала, а тут опять, – засмушалась, зарделась младшая. – А я откуда знаю? Вроде нет.

– Пора, пора, сестрица. Чего ж тянуть? Лучше быть молодой бабушкой, чем старой матерью. Может, вы не хотите дитёнок? Так и скажи, и я спрашивать не стану.

– Ага, не хотите. Фимка каждый раз, как от меня в постели отклеится, так сразу руку на живот, и спрашивает: «Вот теперь точно?!». Мне уже не знать, куда глаза девать от ваших расспросов, – обиженно ответила сестре, опустив голову, и готова было вот-вот расплакаться. – Не получается, сестричка, и говорить, не знаю что. Знаю только, чувствую, что вся причина во мне. От этого ещё горше становится. Вроде всё правильно делаем, а по-другому-то и не умеем. Да и как по-другому? Как и все люди, так и мы с Ефимушкой, а не получается. Ой, Господи, за грехи наши наказание мне. Чует моя душа, что грех на мне висит. Не знаю какой, но висит, давит к земле. От стыда не могу глаза поднять, на людей смело посмотреть. Вон тебе завидую, твоему счастью, что ты понесла, родить должна, а это разве не грех с моей стороны – завидовать?

– Да какие грехи твои? Не гневи Бога, Глафира! – обняв сестру за плечи, Марфа прижалась к ней толстым животом, и от этого ещё больше стала видна их разительная несхожесть.

Это в очередной раз почувствовала младшая сестра и уже не сдержала себя, разрыдалась на Марфиным плече.

– Говоришь, греха нету? – говорила сквозь рыдания. – А мамка с папкой, они что, померли по-христиански? Зачем утопили? Их похоронить даже не разрешили как всех – на кладбище, где лежат православные. Вот за их грехи, за родителей наших, теперь я и расплачиваюсь.

– Успокойся, Глашенька, – Марфа поглаживала рукой дрожащую спину сестры, и сама расплакалась вслед младшей. – Разве ж дети отвечают за родителей? А сколько мы горя перетерпели, слёз вылили, неужто Господь не простил нас?

Глафира отстранилась от сестры, вытерла вдруг сухо заблестевшие глаза, заговорила злым, гневным голосом.

– Кто тянул за язык твоего Данилу в церкви, когда мы с Фимкой венчались, а? Скажешь, это тоже не грехи, и не наши? Кто его просил прерывать обряд? Это же святое! А он? Мы же с тобой знаем, все знают, что как обвенчаешься, так и жить будешь. Не так ли? Что скажешь, сестрица родная? Я не права? Вот за это тоже Бог наказал меня. Так что, не лезь ко мне с расспросами, не трави мою и так израненную душу!

– Глашенька, сестричка моя родная! – Марфа побледнела вдруг, ухватилась за грудь. – Как, как ты могла такое подумать? Как язык твой такие слова смог сказать? Побойся Бога! Не со зла это Данилка, поверь, как на духу клянусь, не со зла! Это же от недомыслия, от ухарства своего, от удалы необузданной. Да от дурусти, вот что я тебе скажу, от дурусти. От темноты нашей деревенской, а ты... Хочешь, на колени встану, только прости его, за-ради Христа, прости его, глупого!

Марфа не выдержала, стала опускаться на пол. Глафира кинулась к ней, подхватила, подвела к кровати, усадила. Сама упала перед ней на колени, принялась успокаивать.

– Нет, Марфушка, это ты прости меня, глупую, – только сейчас Глаша поняла, что так грубить, так разговаривать с сестрой нельзя. Тем более, она в таком положении, для неё вредно всякое волнение и тревоги. – Ты не бери близко к сердцу, милая моя. Не обращай на меня внимания, тебе вон рожать. Побереги малыша, а я уж, как Бог даст, – говорила, а сама ласково гладила сестру по животу, уронив голову ей на колени. – Да разве ж я не понимаю, что во мне причина, во мне. Это ж мне так хочется себя обелить. Ты не бери в голову, сестричка моя милая, – и снова рыдала, припав к сестре в колени.

Из задней хаты сквозь неплотно закрытую дверь долетали мужские голоса, потрескивали дрова в печке, да исходило живое, умиротворяющее тепло от неё. Сёстры молча сидели на кровати, прижавшись друг к дружке, успокоившись, чувствовали как никогда тесную родственную связь между собой, что переплела, укутала их любовью и жалостью.

Марфу всё же угнетало ощущение некой вины перед сестрой. Казалось, будь вот сейчас беременна Глаша, и большего счастья не надо. И тогда, если есть где-нибудь рай на земле, то он точно был бы вот здесь, за печкой, в этой тёплой, уютной избе.

Вот и получается, что её, Марфино, и счастье-то за счастье не будет считаться, пока сестрица Глашенька не станет мамою, не почувствует в себе зарождение нового человечка. А так хотелось, так грезилось, чтобы всё у всех наладилось, вошло в свою, Богом данную колею, катилось, как у людей, а то и лучше. А оно вот как. А может, всё ещё образуется? Чего ж раньше времени панихиду петь, хоть и крохотное, но всё же счастье от себя отваживать? И жизнь меняется, и мы меняемся. Может, не след Бога гневить, а воспринимать всё таким, какое оно есть? Живы, здоровы, с голоду не пухнем, над головой крыша есть – чего ещё надо?

И Данилу после венчания как подменили: куда девался тот разбитной пустомеля. Стал таким серьёзным, и даже как будто стеснительным, и домовитым. Если раньше можно было услышать от него ласковое слово, шутку, то теперь Марфа замечает, как тайком муж глянет на неё влюблёнными глазами, кинет ласковый взгляд и тут же отвернётся. А сказать – не может или не хочет. Почему так – кто его знает? Но она уже привыкает к его немногословию, ей приятно то внимание без слов со стороны Данилы. И как хозяин он хорош. Это ж какое счастье иметь такого мужа! Господи, только бы не сглазить!

А мужчины в это время были заняты не менее важными и значимыми для их семей проблемами: как жить дальше? что делать? как быть? какому Богу молиться?

– Может, и нет ничего страшного в этих комитетах? – Данила курил, присев у печки. – Помнишь, на фронте комитетчики обещали землю крестьянам? Заводы и фабрики тоже грозились раздать работным людям? Не так страшен чёрт, а, Фимка?

– Всё так, Данила Никитич, всё так, только чтоб они не мешали нам на этой земле работать, вот что важно. Нам больше земли пока и не надо, справиться бы с той, что есть. Превья власть особо не тревожила, мы уже привыкли друг к дружке: она – к нам, мы – к ней. А тут другое: вдруг к власти придут такие как Кондрат-примак или Никита Семенихин? Кричать они умеют, языки подвешены, что трепло, а как хозяева они – пшик, а не хозяева. Ты же знаешь, что ни тот, ни другой на земле перекреститься не могут, а, вишь, уже бегают по деревне, мужиков баламутят, в командиры метят. Так что не верю я, что комитеты в рай приведут нас.

– Я такую думку имею, Ефим Егорыч, – Данила удобней уселся, облокотился на колени. – Моя хата с краю. Вот моя думка. А они пускай хоть вешаются, хоть давят друг дружку, мне едино. При царе наши родители как жили? Ты нас, царь-батюшка, не замай, а мы тебя и сто годочков трогать не будем. До царя далеко, до Бога высоко, так жили наши мамки с папками, так жили наши деды с бабками, так и мы проживём. Это, конечно, кто хочет так жить. Ты прав: у Никиты Семенихина в огороде только лебеда добре росла, зато поговорить, языком почесать, что та баба беспутная. И все у него виноваты, что не так он живёт, как хотелось бы. А сам палец о палец не ударит. Тут робить надо, ломить так, чтобы хребет трещал, толк только тогда будет. А Кондрат на шее у Агрипины Солодовой сидит, и ножки свесил, лодырь, – Данила сплюнул в печурку, вытер губы. – Таких мужиков в деревне немного, но они есть. И если они смогут взбаламутить народ, то грош цена той власти и такому народу. Вот мой сказ.

– Значит, ты в стороне хочешь остаться? – Ефим раскачивался на скамейке, думал: «Может, и прав Данилка: ну их, все власти! Жить самим по себе, слава Богу, сила ещё есть. Что толку языком чесать? При любой власти работу никто не отменит, это же ясно как божий день. Всё упирается в то, кто над кем начальником встанет? Ну-у! Тогда ему с Данилой не гулять в той компании, не пить с ней бражку. Они в командиры не метят, им бы работать на своей земле, чтобы никто не мешал, рожать детей да просто жить спокойно. Что ещё надо?! Зачем себе на голову очередную заботу, очередную болячку? Делите власть без нас, деритесь за неё, а мы сами по себе. Вот только бы эта власть не лезла к нему, Ефиму Гриню, в душу, не вставляла палки в колёса, не мешала чувствовать себя человеком, хозяином на земле своей. А уж он, Ефим-то, как-нибудь справится со своим наделом, со своей работой. И за помощью не пойдёт, но и в свои дела никого постороннего не пустит: сам, всё сам».

– А на сход сходить надо будет, послушать, что люди скажут. Пойдёшь? Говорят, что из уезду кто-то приедет, там тоже не всё в порядке с властями.

– А как же, сходим, послушаем. А сейчас по всей стране непорядок, неразбериха. А чем Вишенки лучше или хуже других? В Слободе, Борках, Руни такая же круговерть. Вчера ходил на речку, проверить надо было польню, так с мужиками встретился там. Постояли, новостями поделились. Говорят, и в округе такая же круговерть и непонятка с властями. Так что, не мы одни. Но Бог даст, и с очередными правителями сладим.

– И я пойду. Однако, Данилка, слушаем, что народ будет говорить, а сами уже решили, так? Вязываться в эту круговерть нам не с руки. Мы – сами по себе. Жили до этого, проживём и ещё. Только нас не тревожь.

– Всё так, не пропадём, даст Бог. Это с чего к тебе дед Прокоп ходил?

– Так, в гости. Ты, это, забеги к нему, заведи пуда три овса. У нас вроде хватает нашему волу, а твоему будет как раз. Вспашем потом деду, сильно просил.

– Добре, схожу. Я тогда себе овса оставлю на семена малёхо.

А метели вдруг разом прекратились. За ними отступили и морозы, всё чаще и чаще стало проглядывать солнышко, грело по-весеннему. И уже в середине марта побежали ручьи к реке. Перед нею собирались в большие потоки и на подходе к Деснянке ревели, заглушая собою округу. И уже падали с высокого берега не хуже водопадов, привлекая деревенскую детвору своею мощью, необузданной силой.

Снег стал рыхлым, сырым, тяжёлым. Крыши прогнулись, с трудом удерживая на себе эту тяжесть, того и гляди, обрушатся.

Вишенки притихли, притаились перед весной 1918 года.

Глава пятая

Сразу после Пасхи Данила с Ефимом работали в амбаре, готовили зерно к посевной, жёны пошли в поле к бурту с семенной картошкой, решили загодя перебрать, откинуть гнилую, порченую, если есть. Надо было дать картошке полежать маленько под солнцем, в тепле, назубиться росткам. Тогда и всходы будут дружной, и на лучший урожай можно рассчитывать. Да под солнцем любая болячка на картофельном теле ярче проступит, видно будет, сажать её или нет.

Мужчины заканчивали рассыпать по мешкам пшеницу, как услышали чавканье копыт по грязи и лошадиное фыркание.

– Кого нелегкая принесла? – Ефим бросил совок, подался к дверям.

Данила пошёл следом, достал кيسет, принялся крутить самокрутку.

Конём правил Щербич Макар Егорович. Вот он подъехал к берёзке, спешился, привязал коня к дереву, направился к мужикам. Аккуратно подстриженная борода, такие же аккуратные усы и городская причёска на непокрытой голове, штаны, заправленные в хромовые сапоги, никак не выдавали в нём жителя соседней деревни Борки. Городской мужик, и всё тут!

– Доброго здоровья, Ефим Егорович, и тебе, Данила Никитич, – мужчина степенно поздоровался за руку с каждым, приветливая мягкая улыбка озарила его чуть продолговатое обветренное лицо.

– И тебе не хворать, Макар Егорович, – Ефим смахнул рукавом невидимую пыль на досках, что сложены у стены амбара, пригласил гостя. – Проходи, садись, отдохни.

– Спасибо, братцы, насиделся, пока ехал. Мне бы ноги размять, постою. Спасибо.

– Ну, как хочешь, – Данила присел на краешек, махнул рукой Ефиму. – Садись, нам отдохнуть не помешает.

Солнце стояло к обеду, пригревало, от земли поднимался сырой, болотный, с гнильцой дух. Скворцы в саду учинили переключку, да воробьи дрались за оброненное зерно у амбара. Клейкие молодые ярко-зелёные листочки березы трепетно шевелились под тихим весенним ветерком.

– Хорошо! – гость оглянулся вокруг, развёл руками. – Хорошо, когда земля очнулась ото сна, распускается всё, прямо жить хочется!

– Это ты правду сказал, Макар Егорович, – поддержал Ефим. – Кажется, и зиму-то терплю только потому, что за ней вот такая красота грядет.

Данила переводил недоумённый взгляд с одного на другого, хмыкнул.

– Вот уж не думал, что весна лучше зимы, а лето – осени. Для меня – один хрен, спину приходится гнуть в любую пору года. Ты за этим к нам приехал, Макар Егорович, природой полюбоваться? Иль в Борках природа не такая? Может, весна ещё не наступила и вы живёте по другому календарю? Наверное, отец Василий его вам намолил? Если так, то нам не жалко: дыши, любуйся!

– Эх, Данила, Данила Никитич! – покачал головой Щербич. – Тяжко тебе жить на белом свете. И неудобно.

– С чего это ты вдруг так решил? – усмехнулся Кольцов, с любопытством уставился на гостя в ожидании ответа. – Иль я из другого теста? Пальцем делан?

Макар Егорович ещё с мгновение покрутил головой, в очередной раз окинув взглядом окрест, присел на корточки, прижался спиной к стенке амбара.

– Деланы мы все на один манер, да только получаемся разными, вот что я тебе скажу.

– Твоя правда, Макар Егорыч, разные мы, – сразу согласился Данила, заговорил серьёзно, но с вызовом. – Вон, на Фимку погляди или на себя. Живёте, как будто земли ногами не касаетесь, витаєте где-то в облаках. Вроде как в уборную не ходите, не жрёте, как все люди. Что

божьи птички. Оглянитесь, земля навозом воняет, вокруг грязь невысохшая, непролазная, ногу еле вытаскиваешь. Какая ж это к чёрту красота? И работа на каждый день, без святков, без гульбищ, тяжкая, с треском в хребтине, а вы красота-а-а! Э-э-э, да что говорить!

Затянувшись, Кольцов с силой выпустил дым, зло сплюнул себе под ноги, растёр плевком носком лаптя.

– Вот, если бы пузо чесать, лёжа на печи, или в тарансах мягких да уютных с девками кататься, не думая о хлебе насущном, вот это красота! Тогда и поговорить о красивом можно, порассуждать об умных вещах. А то в навозе по самое горло, почти захлёбываются им, вон, уже из носа прёт струёй, из-за работы тяжкой голову от земли поднять некогда, а туда же, красота-а-а, тьфу твою мать! Есть что говорить, да нечего слушать, прости Господи! С луны свалились, ей Богу, с луны. Оглянитесь, приноухайтесь, разуйте глаза – какая ж это красота? Где она? Ау-у! Красота-а! Дерьмом воняет, а у них нос соплями забит, не унюхают. Всё им кажется, всё им чудится, что цветочки пахнут.

Ефим со Щербичем молча переглянулись, опустив голову, молчали. В наступившей тишине слышно было, как где-то на деревне заголосила вдруг баба, залаяли собаки, и спустя мгновение снова всё стихло, успокоилось. Только скворцы продолжали певчую перекличку, да никак не могли разделить добычу воробьи.

– А ты, Данила Никитич, удавиться не пробовал? – нарушил молчание гость. – Чем так жить, чем такими глазами на жизнь глядеть, лучше удавиться и не мучиться. Не думал об этом, Данила Никитич?

– Только после тебя, Макар Егорыч, – тут же ответил, не полез в карман за словом Кольцов. – На твоих поминках спляшу, и сразу следом за тобой.

– Ага, всё ж таки гулянки, развлечения ты в своей жизни допускаешь, раз на моих поминках плясать собрался? – гость с интересом уставился в Данилу. – Значит, не так уж и тяжела жизнь, если есть место и время погулять?

– Что ты этим хочешь сказать, торгашеская твоя душа? – тон хотя и остался покровительственным, но строгости и злости немного поубавилось. – Думаешь, земли панские да винокурню скупил, так ты уже богом местным стал, сейчас учить нас станешь?

– Да-а, тебя научишь, – примирительно заметил Макар Егорович, достал расчёску, принялся причёсывать и без того аккуратные лежащие волосы. – Я тебя уже остерегаться начинаю, не то чтобы учить.

– А и правда, Данилка, – вмешался в разговор Ефим. – Что-то в последнее время я тебя не узнаю: изменился ты, огрубел, что ли? Если смотреть на жизнь так, как ты, то и до петли недалеко.

– Вы что, сговорились меня учить? – опять занервничал Данила, подскочил с досок. – Исусики, ей Богу, Исусики! Да я сам кого хочешь научу, не то что...

– Ну-ну, успокойся, – Ефим хлопнул ладошкой, приглашая Данилу сесть рядом. – Давай послушаем, чего это такие уважаемые в округе люди к нам пожаловали.

Кольцов вернулся на место, гость подошёл ближе, присел на корточки, снова мягкая, приветливая улыбка заиграла на его загорелом, обветренном, морщинистом лице.

И Данила, и Ефим понимали, что не праздное любопытство привело сюда местного богача, землевладельца и собственника винокурни. Слишком разные они, чтобы вот так, запанибратски сидеть и трепать языком. Но Кольцов понимал и другое: каким бы ни был собеседник богатым или грамотным, унижить себя, дать себя затоптать в грязь он тоже не мог и не хотел. Этому противилась его противоречивая натура, он знал себе цену и если не гордился собой, то уж точно не считал себя последним человеком в Вишенках.

Гринь, в отличие от соседа, друга, а теперь и родственника, не обладал той напористостью, обострённым чувством самолюбия, как Данила, но тоже простаком не был. Да, он умел работать и работал не покладая рук. Но он ещё и умел заметить, как распускаются листочки,

уловить тонкий, пьянящий аромат цветущих вишен. Да и просто мог остановиться, смотреть с замиранием сердца за закатом или чарующим восходом. Именно в этом находил для себя успокоение, отдых от повседневной крестьянской тяготы. Потому-то и поддержал гостя, когда тот вслух залюбовался природой, сумев в такое простенькое слово «хорошо-о-о» вложить огромный для Ефима смысл. Они почувствовали друг в друге родственные души, это их и сблизило против Данилы.

И Щербич родился и вырос в соседней деревне Борки, достиг сегодняшнего положения, будучи приказчиком у богатого и состоятельного купца Востротина, разбирался в людях. Ценил в них в первую очередь рабочую, трудовую жилку. Уважал тех, кто не роптал, не жалился на судьбу, а горбатился, как ломовая лошадь, шёл к своему благополучию через тяжкий труд, не искал обходных путей, не лукавил. И работа, тяжкий труд не убили в них умения ценить саму жизнь, радоваться минутному, мгновенному счастью, что не так и часто выпадает на долю крестьянина. Такие люди надёжные, на них можно положиться, доверить сложное ответственное дело. А ему сейчас как никогда нужны надёжные, преданные в первую очередь работе помощники. Он не искал у своих работников любви к себе, как к личности. Нет! Ему было совершенно безразлично, как и кто о нём подумает и что скажет в его адрес. Важно, чтобы этот человек делал порученное ему дело добросовестно, с полной самоотдачей. Именно такими Макар Егорович считал Данилу и Ефима. Потому-то и простил, не заметил того резкого, панибратского отношения к себе Данилы. Бог с ним!

Вот не поленился в такую слякоть сесть верхом на лошадь, приехать из Борков сюда, в Вишенки. Дело требовало. Ещё с осени он обмолвился с Ефимом насчёт работы на винокурне, но конкретного, делового разговора не было. А сейчас время поджимает, тянуть больше нельзя. Тем более, есть большие задумки, а без хороших помощников не осилишь, как не пыжься. На сына Степана, ровесника Ефима и Данилы, надежд никаких. Только и норовит выпить да выпятить грудь по пьяни. Мол, вот мы какие, Щербичи! Бога за бороду ухватили и волтузим! Тьфу! Пустельга, хвастаться нечем. Сколько уже раз кнутом по горбу ему хаживал, от монополюшки изгонял, а толку никакого. Сколько позора перетерпел из-за него, окаянного. Однако сын, никуда не денешься, будешь терпеть, холера его бери.

Женить бы, что ли? Уже и невесту подобрал для сына, и красавица, и умница. Дочь белошвейки со Слободы, хорошая будет невестка. Может, остепенится, за ум возьмётся сынок родной около жёнки молодой? Помощником, наконец, станет? А пока надо надеяться на чужих людей.

– Не обижайся, Данила Никитич, – после некоторого молчания начал гость. – Только моя думка такая: умеи радоваться жизни. Если сумеешь серёд трудов тяжких, неблагодарных заметить и услышать, как поёт пичужка, как пахнет цветок полевой, какого цвета васильки во ржи, то ты не просто работный человек, но ты ещё и умный! Да-да! И умный! Ты же без красоты в одной работе чисто гробишь себя, загоняешь в могилу, превращаешься в обычную рабочую скотину. А ты оглянись, и душе твоей станет легче. Вол, он тоже пашет и на траву отвлекается, когда жрать хочет. А мы же люди, отличаться должны от животины и видеть в траве не только материал для сена, но и замечать зелень и сочность травки, уловить глазом красоту цветочков, да и синь небесную, восходы-закаты солнечные. Вот так-то. Люди мы, Данила Никитич, люди-и!

– Ладно, Макар Егорыч, – засмушался вдруг Данила, сказал примирительно, пошёл на попятную. – Не пропащий я, ты же знаешь. Вон иногда встану, на Марфу свою зенки впрялю, и так это мне приятно!

– Во! Я ж говорю! Значит, не ошибся я в тебе, Данила Никитич. Ну и слава Богу. А теперь к делу.

Говорили долго. Правда, говорил один Щербич, делился потаенной мечтой, планами, а Ефим с Данилой только изредка поддакивали да вставляли словцо.

Решил Макар Егорович на купленных панских землях насадить огромные сады. Яблоневые, грушевые, разных сортов. Винокурню надо надёжно снабжать сырьём, одним давальческим не обойдёшься. Это ещё не промышленное производство, а, скорее, кустарщина. Так и работал пан Буглак. А тут надо работать на перспективу, и чтоб она, эта перспектива, была прибыльной. По-другому и не стоило связываться с винокуренкой. А там и расшириться можно. Со своим винишком нужно выйти на рынки других волостей, губерний. А это уже размах, и доход не чета теперешнему. Если нет перспективы, нет планов, тогда о чём говорить?

Но для осуществления этих самых планов Макару Егоровичу нужны надёжные помощники, соратники, если хотите. На сына надежды нет, вы, мол, Ефим Егорыч и Данила Никитич, знаете моего единственного оболтуса. Других детей Бог не дал, жена умерла при родах первенца. А жениться на другой не смог, так сильно любил её, покойницу. При этих словах мужчина зашмыгал носом, отвернулся, смахнул невидимую слезу. Но быстро взял себя в руки, продолжил.

Конечно, можно было за огромные деньги привлечь специалистов, готовых уже специалистов со стороны. Но в этом случае не денег жалко, нет. Тут совершенно другое. Тот работник будет отрабатывать своё от сих до сих, и не более того. Баста. Точка. Надеяться, что он проявит инициативу, вложит душу свою в его, Щербича, дело, не приходится. Не за тем этот специалист пришёл сюда, да и за его душу деньги не плачены.

Ему, Макару Егоровичу, нужны люди, вкладывающие собственную душу в работу. А кто так сможет сделать вот здесь, в Борках да Вишенках? Правильно, только тот, кто родился и вырос здесь, на местной землице, на местной красоте, кто дышал вот этим, нашим воздухом. Кто себя не мыслит без своей деревеньки, кто любит её, кто предан ей. Вот тот человек и будет стараться и не за-ради денег, вложит душу свою в дело. А дело, сделанное с душой, – это уже успех, господа хорошие.

– Перебрал в уме всю округу и остановился на вас, парни, – продолжил Макар Егорович. – Был на прошлом сходе сельском, где выбирались новые власти. Наблюдал за вами, слушал, что говорили. Понравилась ваша позиция, не скрою, понравилась. Вы ни на кого не надеетесь, а только на себя, родимых. И я, Щербич, тоже такой думки: сам, только сам!

– Сватаю я тебя, Ефим Егорович, на должность главного на винокурне. Ты процессы знаешь, технологии тебе ведомы, так что и карты тебе в руки. Но! – Макар Егорович поднял вверх палец, внимательно посмотрел Гриню в глаза. – Не обижайся, то, что ты знаешь, для большого дела мало. Да, мало! Может быть, пану Буглаку и хватало, а мне, Щербичу Макару Егоровичу, мало. Поэтому я уже договорился в губернии, а там винно-водочный заводик не нам чета! С заграничным оборудованием, всё сверкает и блещет. И на выходе ого-го! Поедешь, Ефим Егорович на учёбу в губернию, пару месяцев на этом заводе с грамотными и умными людьми пообщаешься, вникнешь в суть производства, поучишься, опыта наберёшься, и с Богом! Я уже и денежку неплохую заплатил за твою учёбу.

– Макар Егорыч, а как же земля? Посевная? Семья? Не могу я, не обессудь, – Ефим подскочил, забегал, замахал руками. – Я уж на земле останусь, Макар Егорович, извиняй. Получается, без меня меня женили, меня дома не было.

Но такой отказ как будто и не смутил Щербича, а напротив, он ещё больше уверовал в свою правоту, в свой выбор.

– Вот этого я и ожидал, Ефимушка! – довольная улыбка застыла на лице гостя. – Скажи ты по-другому, согласишься сразу – не поверил бы тебе. А сейчас верю, что всё у нас выгорит, вот тебе крест, выгорит!

– Как оно выгореть может, Макар Егорыч? Не согласный я!

– А сейчас послухай меня, старого дурака, и согласишься. Никогда не спеши говорить «нет!».

Гость пододвинул себе чурбачок, что валялся у входа, уселся, снова внимательно посмотрел на своих собеседников и продолжил.

– Я это продумал, так что... – загадочно замолчал, опустив голову, собиравшись с мыслями. – Посевную отведёте, грядки уже жёнки обустроят, они у вас молодцы. И без мужской руки управятся.

– Не понял? – Данила привстал, наклонился к гостю. – Что это значит – посевную отведёте? Это и я тоже?

– И ты, и ты, Данила Никитич, ты правильно понял, – снова довольная улыбка коснулась лица Макара Егоровича.

– Поясни, а то играешь в кошки-мышки.

Друзья переглянулись, с интересом уставились на гостя. Это им уже начинало нравиться. Вот так приехал неожиданно и готов перевернуть всю их жизнь, поставить её с ног на голову. Вот так дела!

– Так для меня ты что приготовил, Макар Егорыч? – с нетерпением воскликнул Данила.

– Сватаю тебя, Данила Никитич, на главного садовода. Вот! – произнёс Щербич и победно взглянул на Кольцова, ожидая его реакции.

– К-к-кого? – опешил Данила.

– Главным садоводом, – и даже повторил для убедительности: – Главным садоводом!

Данила сел на доски и ещё долго хватал ртом воздух, не в силах произнести и слово.

– Там же, в городе, ты поучишься на курсах садоводов, что при губернском присутствии по крестьянским делам, вот так-то. Я там тоже оплатил и твою учёбу, Данила Никитич. Сейчас настало время грамотных людей, попомните мои слова. Неучи сейчас не в цене.

– У меня жёнка вот-вот родить должна, а я в город?

– Сам же говоришь, что жёнка рожать будет, а не ты, – пошутил Макар Егорович. – И сестра младшая при ней. Не одна Марфа остаётся, чего ж ты? Я же говорю, что после посевной. К тому времени родит, нет?

Дальше уже говорили неспешно, обстоятельно порешали все вопросы, все неясности, ударили по рукам.

– Отучишься, а с осени начнём закладывать сад. Обозом из губернии вывезем саженцы. А сначала землицу подготовим, и тебе, Данила Никитич, тут слово, как специалисту. Воткнуть деревце в землю – казалось бы, большого ума не надо. Но будет ли оно расти на этой земле? Правильно ли ты его посадил? Какой уход требует молодое деревце? Как в зиму его отправить, подготовить, а по весне встретить? А это уже наука, Данила Никитич, на-у-ка! Извечно наше русское «авось вырастет» тут не проходит, тут головой, мозгами шевелить надо. Тем более, я на сады возлагаю огромные надежды, понимать должен. Не шутки ради затеваю это дело, такие средства закладываю. Это только пан Буглак, чтобы потешить своё самолюбие, заложил липовые аллеи в виде букв собственной фамилии. Но это его дело. Мы эти аллеи трогать не будем. Это к тому, что и липы мне к душе, я их тоже люблю, особенно, когда цветут да пчёлки над ними вьются, трудятся, стараются. Не одним хлебом да вином жив человек. Ему ещё и красота требуется, гармония в природе, в жизни.

Дни бежали с сумасшедшей скоростью, некогда было перекреститься.

Не заметили, как пролетела весна, отсыялись. Перед Троицей и Марфа родила первенца. Обошлось хорошо, слава Богу, бабка Лукерья, повитуха, говорит, что у неё и работы-то как таковой не было. Пуповину перерезала и всё. Молодец молодница, играючи родила!

Не забыли и соседа деда Прокопа Волчкова. Помогли, вспахали, засеяли, всё чин чином. Прокоп Силантьич в конце даже прослезился от благодарности. Правда, когда сели отметить окончание посевной под вековой липой на краю поля, после третьего стакана наливки готов был Данилу и поколотить за то, что тот, по мнению деда, слишком мелкую борозду вёл.

– Волон жалел, негодник! – петушился старик и всё норовил дотянуться до Даниловых волос. – Я ходил, палочкой мерил, в конце перед разворотом ты рано плуг вынал, паря! Надо было ещё с сажень сунуть на прежней глубине, а ты положил набок плужок, слабину волам давал.

– Под озимую рожь, Прокоп Силантьич, сам за плуг встанешь, – отмахивался от него Данила. – А я буду ходить с палочкой, проверять и указывать. Не то лягу на меже, в носу ковырять буду да поплёвывать в потолок. И никому замечаний не буду делать.

– Я, может, и не доживу, а ты меня за плужок. Отходил я, паря, своё. Теперь твой черёд. И не указ ты мне, молокосос! Учить ещё будет! Вот, возьму батожок, да отхожу тебя по-отцовски, сукин сын! На меже он валяться будет, а я, самый уважаемый после отца Василия человек в округе, буду пахать? Да? А вот это не видал? – и сунул к носу Данилы огромный кукиш. – Утрись, а не меня учи, малявка.

– Плужок, он ведь не соха, за ним особо упираться и не надо, – Данила не обижался на старика, делал вид, что не замечает его страшилок, поэтому и защищался слабо, нехотя.

– Нет уж, паря. Раз так легко, вот и ходи, паря, а меня не замай, прошу по-хорошему. Я – буйный, ты же знаешь. Враз об колено сломаю любого, не гляди, что кашляю, – и делал попытку подняться, но делал это с видимой неохотой.

А в деревне, по слухам, образовывался какой-то комитет из бедноты. Руководил им Кондрат-примак. Всё ж таки добился своего, пройдоха! Стал-таки, начальником! А помощником, правой рукой у него был Никита Семенихин. Ну и вокруг них ошивались им подобные лодыри, у которых-то и лебеда не родила в самый что ни на есть урожайный год, не говоря уж о пшеничке или ржи.

Однако поговаривали, что собираются они объединить свои наделы в общий большой клин и уже сообща пахать да сеять. Об этом долго на прошлом сходе говорил какой-то невзрачный человечиска, якобы представитель новых властей, что приезжал в тот раз из уезда. Пока особо не торопил, но планы поведал.

Мол, если действовать сообща, только тогда новая власть сможет крепко встать на ноги. И она должна объединить всех работных людей. Как будто до них никто в Вишенках и не работал, а праздновали лодыря. И, по большому счёту, Ефим, Данила да дед Прокоп уже давно сообща пашут да сеют. Так что кто только собирается, а кто уже сбился в кучу и без подсказок.

Мужики и бабы шумели, но так и не пришли к единому мнению, отложили на потом.

И Гринь, и Кольцов в споры не ввязывались, молча сидели, слушали, мотали на ус. Не с руки было вместе с лодырями бучу поднимать, спорить. Все, кто мало-мальски мог работать на земле, кто считал себя справным хозяином, сидели в сторонке, курили да хмыкали многозначительно. И только! Кто-кто, а они уж знали, что разговорами сыт не будешь. И если мозгов к крестьянскому труду, старания да умения Бог не дал, обделил при рождении, то можно объединяться во что угодно, а всё равно выйдет пшик.

Где ж ты раньше был, почему не вёл своё хозяйство при старом режиме? Что, тогда не мог, а вот сейчас при новой власти вдруг станешь хозяином всем на зависть? И на твоём огороде всё вдруг зацветёт и заколосится? До этого не было, один чертополох бурно тянулся кверху, открывая твоё отношение к труду, а тут... Не обманывай ни себя, ни других. В деревне все на виду, от рождения видно, кто чем дышит. Ты ещё только родился, а какой-нибудь дед Прокоп или бабка Параска впервые глянет на тебя и скажет: «Ворону видно по полёту, а добра молодца по соплям», и всё, как в воду глядел! И, что характерно, ни разу не ошибались. Скажут, как пригвоздят к стенке.

Так и с этим комитетом, который потом стал называться крестьянским советом: перекреститься на земле не могут, а туда же! Сейчас объединятся, и можно не пахать и не сеять, всё само будет расти? Советчики, мать вашу, тьфу!

Это кто кому советовать должен? Никита Семенихин с Кондратом-примаком кому советовать будут? И главное, что советовать? Как бражку жрать с утра в страдные дни? Как от безделья языком чесать, а у самого солома на крыше хаты сгнила ещё при покойном дедушке, который умер девять лет назад? И за это время никто из семьи к крыше не притронулся! В дождь чашки да шайки под капли ставят, а на крышу, чтобы соломой перекрыть, ни ногой! Не говоря уж про камыш! Солому-то из снопа да на крышу, а камыш надёргать надо, в грязи речной полазить, от Деснянки до дома донести, связать плотно, на крышу поднять, подогнать тютельница в тютельница. Тяжеловато. Правда, зато и надёжней, что ни говори.

К весне скотину на тяжках подвешивают в хлеву, чтобы не пала от бескормицы, и только потому, что летом в сенокос хозяин просто поленился лишний прокос пройти, копёшку-другую сена сметать, чтобы в зиму кормить животину не в жадобку, а вдоволь.

Вот поэтому-то у них никогда не было хороших волов. Кого может принести голодная корова? Дохлика-телка в лучшем случае, а то и останется яловой в зиму. Животина понимает, тоже чувствует: сможет она по таким кормам выносить дитёнка, родить? Природу не омманешь!

Ну, если нет тягловой силы, на чём же ты свою землю будешь обрабатывать, пахать, сеять? Вот то-то и оно! Всё друг с дружкой связано, спутано, переплетено.

А они советовать! Нет уж! Бог миловал, надежда только на себя, не то, что на этих советчиков.

И они стали властями! В страшном сне не приснится такое, однако в яви есть, вон заседают с утра до ночи в общинном доме, только дым коромыслом. А вот в поле их не видно. Ну-ну, тьфу, оборони и спаси, Господи, с такими властями!

Ни Ефим, ни Данила старались лишний раз не показываться на деревне, спешили переделывать как можно больше работы перед отъездом.

Прикинули, что к сенокосу, ну хотя бы к его концу, должны успеть отучиться, и тогда смогут поставить хорошую скирду сена на лугах для животины в зиму. Макар Егорович обещал пустить на свои заливные луга, что на левом низком берегу Деснянки. Говорил, что оставит хорошую деляну с сочной травой. Ну-ну, дай Бог нашему теляти да волка съесть, однако надежда была. Не тот это человек, чтобы попусту языком трепать, обнадёжить, а потом не сделать.

На третий день после Троицы сам Макар Егорович на пролётке отвёз до уездного городка, а там уже на паровозе уехали Гринь и Кольцов в губернский город Могилёв, где совсем недавно верой и правдой служили царю и Отечеству.

Глава шестая

В затерянные среди лесов Вишенки всё лето доходили слухи, что и в уезде, и в губернии то и дело кто-то с кем-то делил и никак не мог поделить власть. Кто и с кем – понять было трудно, потому как каждый спорщик, каждый кандидат во власть обещал сплошной рай, вечную благодать, если им достанется поруководить народом, что и помирать неохота будет православным. Поэтому все в деревне работали, не покладая рук.

Дед Прокоп Волчков здраво рассудил ещё по весне, что раз смута такая идёт, значит, надо больше сеять табачку да хлебушка.

– Это с чего ты так решил? – поинтересовался новый председатель бедняцкого комитета Кондрат-примак на очередном сходе-говорильне, которые прямо захлестнули Вишенки.

– Потому как отнимать провизию новые власть будут у работного люда, вот почему, – не выпуская изо рта самокрутку, изрёк дед. – Вы отнимите наши урожаи, а нам самим что? С голоду подыхать? Потому-то и сеять надо поболее, чтобы и на лодырей да бездельников хватило.

Селяне замолкли враз, ошеломлённые таким известием. Поговорить, поделить власть – это одно, а отнимать хлебушко – это совсем другой коленкор.

– Ну-ка, ну-ка, Прокоп Силантьич, – напирала на старика мужики и бабы. – Ты где-то такое слышал? Кто тебе такое сказал? – а сами уже зверем смотрели в сторону примака – новой деревенской власти.

– Жизнь подсказывает, – дедушка привстал с завалинки, обвёл присутствующих пророческим взглядом, довольный всеобщим вниманием. – Слушайте, пока я ещё живой.

– Ты не шути, – подскочил к нему Кондрат. – Начал, так говори до конца! Это кто и зачем у тебя последний кусок хлеба отбирать собрался, я, что ли? Ну, я слушаю!

– Не нукай, не запряг! – огрызнулся старик. – А говорю так, потому как знаю, что от ваших пустых разговоров ни одна зараза на поле не вырастет, разве что мозоль на языке вскочить может.

Оглянись вокруг, пустообрех, все отсеялись, только новые власть ещё в поле не выходили. А ведь после Троицы уже и сеять-то нельзя – не взойдёт. Только впустую семена угробишь, изведёшь. Не мною это придумано, а природой, паря. Покажь мне, благодетель, ты хоть одну былинку воткнул за весну в пахоту? Ты хотя бы зёрнышко сунул в земельку в надежде на будущий урожай, а? Не-е-ет! Что жёнка по простоте душевной да по крестьянскому характеру в грядки посадила, то и всё! Языком только болтал, как корова боталом. А жрать-то захотите! А где взять? А таких как ты, пустомель, сколько по державе нашей? А семьи ваши? И все исть захотят, да чтоб кусок хлеба не простого, не ржаного, а булку им подавай белую, да с маслом потолще, с палец толщиной, потому как власть-а! А где взять? У самих-то ветер в поле голодную песню поёт, зацепиться не за что, от голода воеет. Вот и упрётся ваш взор к нам, работным людям, в карман да в сусек, заставите делиться, потому как власть вы, холера вас бери, и лодыри, прости Господи! А против властей кто ж пойдёт? Вы вмах с ружьём нас прижмёте, к стенке приставите. И ваша взяла. Все власть от Бога, так ещё деды нас учили, терпеть вас, паразитов, и нам придётся.

– А кто ж им даст, дядя Прокоп? – прокричал Никита Кондратов. – Мы ж не только работать, пахать да сеять можем, мы же и в рожу, если что!

– Ну, с рожей повремени, соколик, до осени, а лучше – до зимы, а я погляжу потом, как ты с этой рожей обойдёшься, – усомнился дед. – Рожь эта будет властью называться, а кто против властей пойдёт? Попомните мои слова, именно так и будет. Так что, сейте больше, чтобы на всех хватило. Нахлебников прибавится, к гадалке не ходи.

– Ты что, дед, агитируешь против советской власти? – накинулся на старика председатель. – Ты не надейся на свою старость, а за агитацию против законной народной власти можешь загреметь и в кутузку, понятно тебе? Наша, народная рабоче-крестьянская власть всегда сможет себя и прокормить и постоять за себя сможет.

– Так кто ж против? Я, что ли? – не сдавался дед Прокоп. – Это ж вы сами против себя агитируете: не сеете, не пашете, как все нормальные люди. А вот руки скрутить, это вы мастера, итить вашу мать! Вишь, на пятку наступил, на мозоль властный, так он сразу кутузкой грозить стал. Моя правда, паря, к попу не ходи, а я прав, как ни крути. Тебе и сказать против нечего, и крыть-то нечем, горе-власть, потому и грозить начинаете. А если грозишься, значит, чувствуешь свою слабину, а мою правоту.

В тот раз Глаша и Марфа увели под руки деда со схода, подальше от греха. Правда, он особо и не сопротивлялся. Во-первых, Кондрат уже арестовывал Акима Козлова, сажал в «тёмную», не посмотрел, что тот безногий и на костылях. Надо ж было ему батожком пригрозить Никите Семенихину, второму человеку в Вишенках при новой власти! Мол, на власть с батожком! И посадили. Не посмотрели на инвалидность. Такая перспектива не устраивала на склоне лет старика, потому-то и безропотно подчинился соседкам. А во-вторых, жене Прокопа Силантьевича бабушке Юзефе стало худо, вот и поспешал к ней дед Прокоп. А вдруг? Попрошаться бы успеть. Но, слава Богу, обошлось.

С тех пор больше не ходил на сходы, боялся за себя, что не сможет сдержаться, выскажет правду-матку в глаза. А кто ж её любит, правду-то? Вот именно, потому и не ходил, что не хотела сельская власть слушать правду. Высказывал всё Ефиму да Даниле. А парней не стало, уехали в губернский город, перекинулся на их жён. Теперь они выслушивали дедушкины взгляды на жизнь.

– Дедунь, ты так складно говоришь, что мы с Марфой готовы тебя в начальники поставить, вот тебе крест, – Глаша в такие минуты дедушкиного откровения брала его под руки, усаживала на лавочку у дома и превращалась в терпеливого слушателя. – Как панского управляющего Функа Рудольфа Францевича. Ты всё, что хочешь сказать, говори мне, я выслушаю. И перечить не буду, так что, говори со мной. Буду тебе поддакивать да кивать головой. Только не ходи туда, на сходы эти, гори они огнём.

Деревенька притихла, сгорбилась, ушла в себя. И даже праздники христианские проходили без прежнего размаха.

Пасха прошла как-то тихо, незаметно, без шумных застолий, без привычного катания крашенных яиц, игры в битки на яйца. Хотя ребятишки и ввязывались в эти игры, однако той взрослой поддержки, как в прошлые времена, не было. На Троицу не видно было украшенных, праздничных подвод с нарядно одетыми гостями из близлежащих деревень – Борков, Слободы, Пустошки.

На службу праздничную в церковь к отцу Василию сходили, это святое. Заодно и сахарные петушки на палочках всё ж таки из Слободы привезли для ребятни, а вот на ярмарку туда так массово, как это было год назад, не поехали. И сами жители Вишенок не спешили гостевать, больше сидели дома, отмечали Троицу скромно, по-семейному.

Макар Егорович привёз для Глаши и Марфы по большой шёлковой шали в подарок, да по кульку конфет в разноцветных бумажных обёртках.

– Это, чтобы вы несильно скучали без мужей, пока они будут на учёбе.

Для новорожденного выделил хороший отрез ситца.

– Пошьёшь парню одежонку. Не гоже малыцу в домотканом бельишке с детства тельце натирать. Пора уже жить по-новому, и одеваться в том числе.

– Ой, Макар Егорович, ну зачем? – Марфа прижимала подарки к груди, из скромности отнекивалась, а сама готова была расплакаться от благодарности.

За всю её жизнь ещё никто и никогда не дарил ей подарков, тем более таких. Вот уж никогда не думала, что её муж Данилка в почёте и уважении у такого богатого человека, как Макар Егорович Щербич. После того как прежний пан Буглак исчез бесследно, он теперь новый пан, новый землевладелец.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.